

НОВЫЙ ДЕТЕКТИВЪ



Борис Акунин

ЛЮБОВНИЦА СМЕРТИ

Annotation

«Любовница смерти» (декаданский детектив) — девятая книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина». В Москве открывается клуб «Любовников Смерти» — сообщество, члены которого один за другим добровольно сводят счеты с жизнью. Участники клуба уверены, что земная жизнь — посланное им наказание. Но хотя мучение это временное, его нельзя прерывать самовольно, не увидев знак, поданный Смертью. Каждый из них с нетерпением ожидает этого знамения, а, встретив его, немедленно кончает с собой, оставив предсмертную стихотворную записку. Провинциалка Маша Миронова, приехавшая в Москву к возлюбленному Пете, принимает его приглашение присоединиться к тайному сообществу. Вскоре члены клуба берут в свою компанию и Эраста Фандорина, который твердо намерен положить конец череде самоубийств.

- [Борис Акунин](#)
 - [Глава первая](#)
 - [I. Из газет](#)
 - [II. Из дневника Коломбины](#)
 - [III. Из папки «Агентурные донесения»](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [I. Из газет](#)
 - [II. Из дневника Коломбины](#)
 - [III. Из папки «Агентурные донесения»](#)
 - [Глава третья](#)
 - [I. Из газет](#)
 - [II. Из дневника Коломбины](#)
 - [III. Из папки «Агентурные донесения»](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [I. Из газет](#)
 - [II. Из дневника Коломбины](#)
 - [III. Из папки «Агентурные донесения»](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [I. Из газет](#)
 - [II. Из дневника Коломбины](#)
 - [III. Из папки «Агентурные донесения»](#)

- [Глава шестая](#)
 - [I. Из газет](#)
 - [II. Из дневника Колумбины](#)
 - [III. Из папки «Агентурные донесения»](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

Борис Акунин

Любовница смерти

Автор благодарен Сергею Гандлевскому и Льву Рубинштейну, которые помогли персонажам этого романа — Гдлевскому и Лорелее Рубинштейн — написать красивые стихи.

Глава первая

I. Из газет

Самоотверженность четвероногого друга

Вчера в третьем часу пополудни жильцы доходного дома общества «Голиаф», что на Семеновской улице, были разбужены звуком падения некоего тяжелого предмета, после чего раздался протяжный вой. Был пойнтер фотографа С., снимавшего ателье в мансарде. Вышедший на шум дворник посмотрел вверх и увидел освещенное окно, на подоконнике коего стояла собака и выводила душераздирающие рулады. В следующий миг дворник заметил лежащее внизу недвижимое тело самого С., которое, по всей видимости, и являлось предметом, чье падение произвело столько шуму. Внезапно, прямо на глазах у пораженного дворника, пойнтер прыгнул вниз и, упав неподалеку от трупа своего хозяина, расшибся о булыжную мостовую.

Существует множество легенд о собачьей преданности, однако же самоотверженность, преодолевающая инстинкт самосохранения и презирующая самое смерть, у четвероногих встречается крайне редко. И уж тем более редки среди наших меньших братьев случаи явного самоубийства.

Первоначально у полиции возникло предположение, что С., отличавшийся беспорядочным и не вполне трезвым образом жизни, выпал из окна по случайности, однако судя по стихотворной записке, которая была найдена в квартире, фотограф наложил на себя руки. Мотивы этого отчаянного поступка неясны. Соседи и знакомые С. утверждают, что никаких причин для сведения счетов с жизнью у него не было и что, напротив, в последние дни С. пребывал в самом приподнятом настроении.

Л. Ж.

«Московский курьер» 4(17) августа 1900 г. 6-ая страница

ТАЙНА РОКОВОЙ ПИРУШКИ РАСКРЫТА

Невероятные подробности трагического происшествия в Фурманном переулке

Как уже сообщалось третьего дня, именины, устроенные гимназическим учителем Соймоновым для четверых сослуживцев, закончились самым печальным образом. И хозяин, и гости были найдены вокруг накрытого стола бездыханными. Вскрытие мертвых тел обнаружило, что причиной смерти всех пятерых стала бутылка портвейна «Кастелло», содержавшего чудовищную дозу мышьяка. Это известие всколыхнуло весь город, и спрос в винных лавках на вышеозначенную марку портвейна, прежде любимого москвичами, совершенно прекратился. Полиция начала дознание на разливочном заводе братьев Штамм, поставляющем «Кастелло» виноторговцам.

Однако ныне со всей достоверностью можно утверждать, что почтенный напиток ни в чем не повинен. В кармане сюртука Соймонова найден листок со стихотворением следующего содержания:

Прощальная

Без любви жить невозможно!

Озираться осторожно,
Подхихикивать натужно
Мне теперь уже не нужно.

Всё, насмешливые люди.
Позабавились, и будет.
Пособите молодцу
Приготовиться к венцу.

Пред разверстою могилой
Крикну той, что мне открыла
Тайну страшную любви:

«Как цветок, меня сорви!»

Смысл этого предсмертного послания туманен, однако же совершенно очевидно, что Соймонов имел намерение уйти из жизни и яд в бутылку подсыпал сам. Мотивы этого безумного деяния неясны. Самоубийца был человеком замкнутым и чуждавшимся, однако без явных признаков душевного недуга. Как удалось выяснить вашему покорному слуге, покойный не пользовался любовью в гимназии: среди учащихся он слыл учителем строгим и скучным, коллеги же осуждали его за желчность и гордость, а некоторые потешались над его своеобразной манерой поведения и болезненной скупостью. Однако всё это вряд ли можно счесть достаточным основанием для столь чудовищного злодеяния.

Соймонов не имел ни семьи, ни прислуги. По свидетельству квартирной хозяйки г-жи Г., он часто отлучался по вечерам и возвращался далеко за полночь. Среди бумаг Соймонова обнаружено множество черновых набросков к стихотворениям весьма мрачного содержания. Никто из сослуживцев не знал, что покойный сочиняет стихи, а некоторые из опрошенных, будучи поставлены в известность о поэтических опытах сего «человека в футляре», даже отказывались в это верить.

Приглашение на именины, закончившееся столь ужасным образом, стало для гимназических коллег Соймонова полнейшей неожиданностью. Никогда прежде он гостей к себе не звал, да и пригласил тех четверых, с кем у него были самые скверные отношения и кто, по многочисленным свидетельствам, более всего над ним насмешничал. Несчастные согласились, решив, что Соймонов наконец вознамерился наладить отношения с сослуживцами и еще (как выразился инспектор гимназии г. Сердоболдин) «из понятного любопытства», ибо дома у мизантропа прежде никто не бывал. К чему привело любопытство, известно.

Совершенно очевидно, что отравитель решил не просто подвести черту своей постылой жизни, но еще и прихватить с собой обидчиков, тех самых «насмешливых людей», о которых поминается в стихотворении. Однако что могут означать слова о той, которая «открыла тайну страшную любви»? Уж не скрыта ли

за этой макабрической историей женщина?

Л. Жемайло

*«Московский курьер» 11(24) августа 1900 г. 2-ая
страница*

В МОСКВЕ ДЕЙСТВУЕТ КЛУБ САМОУБИЙЦ?

***Наш корреспондент проводит собственное расследование и
высказывает зловещую догадку!***

Выяснены обстоятельства потрясшего всю Москву самоубийства новоявленных Ромео и Джульетты — 22-летнего студента Сергея Шутова и 19-летней курсистки Евдокии Ламм (см., в частности, нашу статью «Нет повести печальнее на свете» от 16 августа). Газеты сообщали, что влюбленные одновременно — очевидно, по сигналу — выстрелили друг другу в грудь из двух пистолетов. При этом девица Ламм была сражена наповал, а Шутов получил тяжелое ранение в область сердца и был доставлен в Мариинскую больницу. Как известно, он находился в полном сознании, однако на вопросы не отвечал и только повторял: «Почему? Почему? Почему?» За минуту до того, как испустить дух, Шутов вдруг улыбнулся и тихо произнес: «Я ухожу. Значит, она меня любит». Сентиментальные репортеры усмотрели в этой кровавой истории романтическую драму любви, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что любовь тут совершенно ни при чем. Во всяком случае, *любовь между участниками трагедии.*

Вашему покорному слуге удалось выяснить, что никаких препятствий на пути предполагаемых Ромео и Джульетты, буде они пожелали бы соединиться брачными узами, не имелось. Родители г-жи Ламм — люди вполне современные. Ее отец — ординарный профессор Московского университета, известный в кругу студенчества своими передовыми взглядами. По его словам, он никогда не стал бы противиться счастью обожаемой дочери. Шутов же был совершеннолетним и обладал хоть

небольшим, но вполне достаточным для безбедного существования капиталом. Получается, что при желании эта пара легко могла бы обвенчаться! Зачем же тогда простреливать друг другу грудь?

Эта мысль не давала нам покоя ни днем, ни ночью и побудила произвести некоторые изыскания. В результате обнаружилось нечто весьма странное. Люди, близко знавшие обоих самоубийц, в один голос утверждают, что Ламм и Шутов находились в обычных приятельских отношениях и пылких чувств друг к другу отнюдь не испытывали.

Что ж, предположили мы. Знакомые часто бывают слепы. Быть может, у юноши и девицы были какие-то основания тщательно скрывать свою страсть от посторонних.

Однако сегодня к нам в руки попало (не спрашивайте, каким образом — это журналистская тайна) стихотворение, написанное самоубийцами перед смертоносным залпом. Это поэтическое произведение весьма необычного свойства, и даже, возможно, не имеющее прецедента. Оно написано двумя почерками — очевидно, Шутов и Ламм, чередуясь, писали по строчке каждый. Таким образом, перед нами плод *коллективного* творчества. Содержание стихотворения заставляет совершенно по-иному взглянуть как на смерть странных Ромео и Джульетты, так и на всю череду таинственных самоубийств, произошедших в Белокаменной за последние недели.

Он был в белом плаще. Он стоял на пороге.
Он был в белом плаще. Он в окно заглянул.
«Я посланец любви. Я к тебе от Нее».
«Ты невеста Его. Я пришел за тобой».
Так сказал он и руки ко мне протянул.
Так сказал он. Как голос был чист и глубок!
И глаза его строгие были черны.
И глаза его нежные были светлы.
Я сказал: «Я готов. Я давно тебя жду».
Я сказала: «Иду. Передай, я иду».

Здесь сплошные загадки. Что означает «белый плащ»? От кого явился посланец — от Нее или от Него? Где он все-таки

стоял — на пороге или за окном? И какого, собственно, цвета были глаза у этого интригующего господина — черные и строгие или светлые и нежные?

Здесь нам вспомнились недавние и, на первый взгляд, такие же беспричинные самоубийства фотографа Свиридова (см. нашу заметку от 4 августа) и учителя Соймонова (см. наши статьи от 8 августа и от 11 августа). В каждом случае было оставлено предсмертное стихотворение, что, согласитесь, встречается в нашей прозаической России не столь уж часто!

Жаль, что полиция не сохранила записку фотографа Свиридова, но и без нее пищи для размышлений и предположений вполне достаточно.

В прощальном стихотворении Соймонова упоминалась таинственная особа, открывшая отравителю «тайну страшную любви» и после сорвавшая его, «как цветок». К Шутову явился посланец любви от Нее — неназванной персоны женского пола; к Ламм — от некоего жениха, которого почему-то тоже необходимо именовать с заглавной буквы.

Так не резонно ли предположить, что любвеобильное лицо, фигурирующее в поэтических творениях трех самоубийц и вызывающее у них благоговейный трепет, есть сама смерть? Тогда многое проясняется: страсть, подталкивающая влюбленного не к жизни, а к могиле — это любовь к смерти.

У вашего покорного слуги уже не остается сомнений в том, что в Москве, по примеру некоторых европейских городов, образовалось тайное общество смертепоклонников — безумцев, влюбленных в смерть. Дух неверия и нигилизма, кризис нравственности и искусства, а еще более того опасный демон, имя которому Конец Века — вот бациллы, породившие эту смертельно опасную язву.

Мы задались целью узнать как можно больше об истории загадочных сообществ, именуемых «клубами самоубийц», и вот какие сведения нам удалось собрать.

Клубы самоубийц — явление не чисто российское и даже вовсе не российское. Доселе подобных чудовищных организаций в пределах нашей империи не существовало. Но, видно, двигаясь вслед за Европой по пути «прогресса», не миновать и нам сего пагубного поветрия.

Первое историческое упоминание о добровольном

объединении смертепоклонников относится к первому столетию до христианской эры, когда легендарные любовники Антоний и Клеопатра создали «Академию не расстающихся в смерти» — для тех влюбленных, кто «захочет умереть вместе: тихо, светло и тогда, когда пожелают». Как известно, это романтическое начинание закончилось не вполне идиллически, поскольку в решающий момент великая царица все же предпочла расстаться с побежденным Антонием и попыталась сохранить себе жизнь. Когда же выяснилось, что ее хваленые чары на хладного Октавиана не действуют, Клеопатра все-таки наложила на себя руки, проявив вдумчивость и вкус, достойные античности: долго выбирала наилучший способ самоубийства, испытывая на рабах и преступниках все возможные яды, и в конце концов предпочла укус египетской кобры, не вызывающий почти никаких неприятных ощущений, если не считать легкой головной боли, которая, впрочем, быстро сменяется «непреодолимым желанием смерти».

Но это легенда, скажете вы, или, во всяком случае, дела давно минувших дней. Современный человек слишком приземлен и материалистичен, слишком цепляется за жизнь, чтобы учреждать подобные «академии».

Что ж — обратимся к просвещенному XIX столетию. Именно оно стало эпохой невиданного расцвета для клубов самоубийц — людей, объединяющихся в тайную организацию с одной-единственной целью: уйти из жизни без огласки и скандала.

Еще в 1802 году в безбожном послереволюционном Париже возник клуб из 12 членов, состав которого по понятной причине постоянно обновлялся. Согласно уставу, очередность ухода из жизни определялась карточной игрой. В начале каждого нового года избирался председатель, обязанный покончить с собой до истечения срока своих полномочий.

В 1816 году «Кружок смерти» возник в Берлине. Шестеро его членов не делали тайны из своего намерения, а, напротив, всячески пытались привлечь новых участников. Согласно правилам, «узаконенным» почиталось лишь самоубийство при помощи пистолета. В конце концов «Кружок смерти» прекратил существование, потому что все желающие перестрелялись.

Затем клубы смертников перестали быть чем-то

экзотическим и превратились чуть ли не в обязательный атрибут больших европейских городов. Правда, из-за преследований со стороны закона эти сообщества были вынуждены перейти на строжайшую конспирацию. По имеющимся у нас сведениям, «клубы самоубийц» существовали (а возможно, существуют и поныне) в Лондоне, Вене, Брюсселе, тех же Париже и Берлине, и даже в захолустном Бухаресте, где игра с фортуной «на вылет» считается модной забавой среди молодых богатых офицеров.

Самая шумная слава выпала на долю Лондонского клуба, в конце концов разоблаченного и разгромленного полицией, но перед этим успевшего поспособствовать отправке в мир иной двух десятков своих членов. Выйти на след смертепоклонников удалось лишь благодаря измене, проникшей в их сплоченные ряды. Один из соискателей имел неосторожность влюбиться, вследствие чего проникся жгучей симпатией к жизни и лютым отвращением к смерти. Этот отступник согласился дать показания. Выяснилось, что в строго засекреченный клуб принимали только тех, кто сумеет доказать серьезность своего решения. Очередность определялась жребием: играли в карты, и выигравший получал право умереть первым. Все бросались его поздравлять, устраивали в честь «счастливица» банкет. Сама смерть во избежание нежелательных слухов обставлялась как несчастный случай, в организации которого участвовали другие члены братства: роняли с крыши кирпич, сбивали избранника каретой и прочее.

Нечто похожее приключилось и в австро-венгерском Сараеве, только с более мрачным исходом. Там существовала организация самоубийц, именовавшая себя «Клубом знающих» и насчитывавшая не менее 50 членов. По вечерам они собирались, чтобы тянуть жребий — брали из колоды по карте, пока не выпадет череп. Вытянувший роковую карту должен был умереть в течение 24 часов. Один молодой венгр заявил товарищам, что выходит из игры, потому что полюбил и хочет жениться. Его согласились отпустить с условием, что он напоследок еще раз примет участие в жеребьевке. На первом круге молодому человеку достался червовый туз, символ любви, а на втором — череп. Будучи человеком слова, он застрелился. Безутешная невеста донесла на «знающих» в полицию, в результате чего эта печальная история сделалась достоянием общественности.

Судя по тому, что происходит в последние недели в Москве, наши смертепоклонники мнения общественности не боятся и не слишком озабочены оглаской — во всяком случае, они не принимают никаких мер для сокрытия плодов своей деятельности.

Обещаю читателям «Курьера», что расследование будет продолжено. Если в Первопрестольной в самом деле появилась тайная лига безумцев, играющих со смертью, общество должно об этом знать.

Лавр Жемайло

«Московский курьер» 22 августа (4 сентября) 1900 г.

1-ая страница с продолжением на 4-ой.

II. Из дневника Коломбины

Она прибыла в Город Грез тихим сиреневым вечером

Всё было продумано заранее, до мелочей.

Сойдя с иркутского поезда на перрон Рязанского вокзала, Маша полминутки постояла, зажмурившись и вдыхая запах Москвы — цветочный, мазутный, бубличный. После открыла глаза и громко, на весь перрон, продекламировала четверостишие, сочиненное третьего дня, при пересечении границы между Азией и Европой.

Обломком кораблекрушенья
В пучины вспененную пасть
Без слов, без слез, без сожаленья
Упасть, взлететь и вновь упасть!

На звонкоголосую барышню с толстой косой через плечо заглядывались — кто с любопытством, кто неодобрительно, один купчишка даже покрутил пальцем у виска. В общем, первую в Машинной жизни *публичную акцию*, пускай совсем крохотную, можно было счесть удавшейся. Погодите, то ли еще будет.

Поступок был символичным, с него начинался отсчет новой эпохи, рискованной и раскованной.

Уезжала-то тихо, безо всякой публичности. Оставила папеньке с маменькой на столе в гостиной длинное-предлинное письмо. Постаралась объяснить и про новый век, и про невозможность иркутского прозябания, и про поэзию. Все листки слезами закапала, да только разве они поймут! Случись такое еще месяц назад, до дня рождения, побежали бы в полицию — возвращать беглую дочку насильно. А теперь извините — Марья Ивановна Миронова достигла совершеннолетия и может устраивать жизнь по собственному разумению. И наследством своим, доставшимся от тетки, тоже вольна распоряжаться, как заблагорассудится. Капитал невеликий, всего пятьсот рублей, но на полгода хватит, даже при знаменитой московской дороговизне, а загадывать на больший срок пошло и бескрыло.

Назвала извозчику отель «Элизиум», о котором слышала еще в

Иркутске и уже тогда пленилась текучим, как серебристая ртуть, названием.

Пока ехала в коляске, всё оглядывалась на большие каменные дома, на вывески и отчаянно боялась. Огромный город, целый миллион жителей, и ни одному из них, *ни одному*, нет дела до Маши Мироновой.

Погоди, пригрозила она Городу, ты меня еще узнаешь. Я заставлю тебя восхищаться и негодовать, а твоей любви мне не нужно. И даже если ты раздавишь меня своими каменными челюстями, всё равно. Обратной дороги нет.

Хотела себя ободрить, а сама только еще пуще оробела.

И совсем уж сникла, когда вошла в сияющий электричеством бронзово-хрустальный вестибюль «Элизиума». Позорно записалась в регистрационной книге «Марьей Мироновой, обер-офицерской дочерью», хотя задумано было назваться каким-нибудь особенным именем: «Аннабеллой Грэй» или просто «Коломбиной».

Ничего, Коломбиной она станет с завтрашнего дня, когда превратится из серого провинциального мотылька в ярkokрылую бабочку. Зато номер был снят самый дорогой, с видом на реку и Кремль. И пускай ночь в этой раззолоченной бонбоньерке обойдется в целых пятнадцать рублей! То, что здесь произойдет, она будет вспоминать до конца своих дней. А завтра можно найти жилье попроще. Непременно в мансарде или даже на чердаке, чтобы никто не шаркал над головой войлочными туфлями, и пусть сверху только крыша, по которой скользят грациозные кошки, а выше лишь черное небо и равнодушные звезды.

Насмотревшись в окно на Кремль и распаковав чемоданы, Маша села за стол, раскрыла тетрадочку в сафьяновом переплете. Немного подумала, покусывая карандаш. Стала писать.

«Сейчас все ведут дневник, всем хочется казаться значительнее, чем они есть на самом деле, а еще больше хочется победить умирание и остаться жить после смерти — хотя бы в виде тетрадки в сафьяновом переплете. Одно это должно было бы отвратить меня от затеи вести дневник, ведь я давно, еще с первого дня нового двадцатого века, решила *не быть, как все*. И всё же — сижу и пишу. Но это будут не сентиментальные вздохи с засушенными незабудками между страницами, а настоящее произведение искусства, которого еще не бывало в литературе. Я пишу дневник не оттого, что боюсь смерти или, скажем, хочу понравиться чужим, неизвестным мне людям, которые когда-

нибудь прочтут эти строки. Что мне за дело до людей, я их слишком хорошо знаю и вполне презираю. Да и смерти я, может быть, нисколько не боюсь. Что ж ее бояться, когда она — естественный закон бытия? Всё, что родилось, то есть имеет начало, рано или поздно закончится. Если я, Маша Миронова, явилась на свет двадцать один год и один месяц назад, то однажды непременно наступит день, когда я этот свет покину, и ничего особенного. Надеюсь только, что это произойдет прежде, чем мое лицо покроется морщинами».

Перечла, поморщилась, вырвала страничку.

Какое же это произведение искусства? Слишком плоско, скучно, обыденно. Надо учиться излагать свои мысли (для начала хотя бы на бумаге) изысканно, благоуханно, пьяняще. Приезд в Москву следовало описать совсем по-другому.

Маша подумала еще, покусывая теперь уже не карандаш, а пушистый хвост золотистой косы. По-гимназически склонила голову, застрочила.

"Коломбина прибыла в Город Грез тихим сиреневым вечером, на последнем вздохе ленивого, долгого дня, который она провела у окошка легкого, как стрела, курьерского поезда, что мчал ее мимо темных лесов и светлых озер на встречу с судьбой. Попутный ветерок, благосклонный к тем, кто рассеянно скользит по серебристому льду жизни, подхватил Коломбину и унес за собой; долгожданная свобода поманила легкомысленную искательницу приключений, зашелестев над ее головой ажурными крыльями.

Поезд доставил синеглазую путницу не в бравурный Петербург, а в печальную и таинственную Москву — Город Грез, похожий на заточенную в монастырь, век вековать, царицу, которую ветреный и капризный властелин променял на холодную, змеиноглазую разлучницу. Пусть новая царица правит бал в мраморных чертогах, отражающихся в зеркале балтийских вод. Старая же выплакала ясные, прозрачные очи, а когда слезы иссякли — смирилась, опростилась, проводит дни за пряжей, а ночи в молитвах. Мне — с ней, брошенной, нелюбимой, а не с той, что победно подставляет холеный лик тусклому северному солнцу.

Я — Коломбина, пустоголовая и непредсказуемая,

подвластная только капризу своей прихотливой фантазии и дуновению шального ветра. Пожалейте бедняжку Пьеро, которому выпадет горький жребий влюбиться в мою конфетную красоту, моя же судьба — стать игрушкой в руках коварного обманщика Арлекина, чтоб после валяться на полу сломанной куклой с беззаботной улыбкой на фарфоровом личике..."

Снова перечла и теперь осталась довольна, но дальше пока писать не стала, потому что начала думать про Арлекина — Петю Лилейко (Ли-лей-ко — что за легкое, веселое имя, точно звон колокольчика или весенняя капель!). Он и в самом деле приехал весной, ворвался в иркутскую недожизнь, как рыжий лис в сонный курятник. Околдовал нимбом огненных, рассыпанных по плечам кудрей, широкой блузой, дурманящими стихами. Раньше Маша лишь вздыхала о том, что жизнь — пустая и глупая шутка, он же небрежно, как нечто само собой разумеющееся, обронил: истинная красота есть только в увядании, угасании, умирании. И провинциальная грезёрка поняла: ах, как верно! Где же еще быть Красоте? Не в жизни же! Что там, в жизни, может быть красивого? Выйти замуж за податного инспектора, нарожать детей и шестьдесят лет просидеть в чепце у самовара?

На высоком берегу, у беседки, московский Арлекин поцеловал млеющую барышню, прошептал: «Из жизни бледной и случайной я сделал трепет без конца». И тут бедная Маша совсем пропала, потому что поняла: в этом — соль. Стать невесомой бабочкой, что трепещет радужными крылышками, и не думать об осени.

После поцелуя у беседки (а больше ничего и не было) она долго стояла перед зеркалом, смотрела на свое отражение и ненавидела его: круглолицая, румяная, с глупейшей толстой косой. И эти ужасные розовые уши, при малейшем волнении пламенеющие, как маки!

Потом Петя, отгостив у двоюродной бабушки, вице-губернаторовой вдовы, укатил на «Трансконтинентале» обратно, а Маша принялась считать дни, остававшиеся до совершеннолетия, — выходило как раз сто, как у Наполеона после Эльбы. На уроках истории, помнится, ужасно жалела императора — надо же, вернуться к славе и величию всего на каких-то сто дней, а тут поняла: сто дней это ого-го сколько.

Но всё когда-нибудь кончается. Миновали и сто дней. Вручая дочери в день рождения подарок — серебряные ложечки для будущего семейного очага — родители и не подозревали, что для них пробил час Ватерлоо. У Маши уж и выкройки невообразимо смелых нарядов собственного

изобретения все были сделаны. Еще месяц тайных ночных бдений над швейной машинкой (тут-то время летело быстро), и сибирская пленница была совсем-совсем готова к превращению в Коломбину.

Всю долгую железнодорожную неделю воображала, как будет поражен Петя, когда откроет дверь и увидит на пороге — нет, не робкую иркутскую дурочку в скучном платице из белого муслина, а дерзкую Коломбину в развевающейся алой накидке и расшитой жемчугом шапочке со страусовым пером. Тут бесшабашно улыбнуться и сказать: «Как сибирский снег на голову, да? Делай со мной, что хочешь». Петя, конечно, задохнется от такой смелости и от ощущения своей безграничной власти над тонким, будто сотканным из эфира созданием. Обхватит за плечи, вопьется жадным поцелуем в мягкие, податливые губы и повлечет незваную гостью за собой в окутанный таинственным сумраком будуар. А может быть, со страстью молодого необузданного сатира овладеет ею прямо там, на полу прихожей.

Однако живое воображение немедленно нарисовало сцену страсти в антураже зонтичных подставок и калош. Путешественница поморщилась, устремив невидящий взгляд на отроги Уральских гор. Поняла: алтарь грядущего жертвоприношения нужно подготовить самой, нельзя полагаться на волю, случая. Тогда-то и всплыло в памяти чудесное слово — «Элизиум».

Что ж, пятнадцатирублевая декорация, пожалуй, была достойна священного обряда.

Маша — нет, уже не Маша, а Коломбина — обвела ласкающим взором стены, обитые лиловым атласом-муаре, пушистый узорчатый ковер на полу, воздушную мебель на гнутых ножках, покривилась на обнаженную наяду в пышной золотой раме (это уж слишком).

А потом заметила на столике, подле зеркала, предмет еще более роскошный — самый настоящий телефонный аппарат! Персональный, расположенный прямо в номере! Подумать только!

И сразу же возникла идея, по своей эффектности превосходящая первоначальную — просто предстать на пороге. Предстать-то предстанешь, а ну как не застанешь дома? Да и провинциальной бесцеремонностью отдает. Опять же зачем ехать, если падение (которое одновременно и головокружительный взлет) произойдет здесь, на этой катафалкообразной кровати с резными столбиками и тяжелым балдахином? А телефонировать — это современно, элегантно, *столично*.

Петин отец — врач, у него дома обязательно должен быть аппарат.

Коломбина взяла со столика изящную брошюру «Московские телефонные абоненты» и — надо же — сразу раскрыла ее на букве «Л».

Вот, пожалуйста: «Теренций Савельевич Лилейко, д-р медицины — 3128». Разве это не перст судьбы?

Она немножко постояла перед лакированным ящиком с блестящими металлическими кружками и колпачками, сконцентрировала волю. Отчаянным движением покрутила рычажок, и когда медный голос пропищал в трубку: «Центральная», быстро произнесла четыре цифры.

Пока ждала, вдруг сообразила, что заготовленная фраза для телефонного разговора не годится. «Какой сибирский снег? — спросит Петя. — Кто это говорит? И с какой стати я должен с вами, сударыня, что-то делать?»

Для куражу раскрыла купленный на вокзале костяной японский портсигар и закурила первую в жизни папиросу (пахитоска, которую Маша Миронова один раз зажгла в пятом классе, не в счет — тогда она еще понятия не имела, что табачный дым полагается вдыхать). Оперлась локтем о столик, повернулась к зеркалу чуть боком, прищурила глаза. Что ж — недурна, интересна и даже, пожалуй, загадочна.

— Квартира доктора Лилейко, — слышался в трубке женский голос. — Кого вам угодно?

Курильщица немножко растерялась — почему-то была уверена, что подойдет непременно Петя, однако тут же выругала себя. Какая глупая! Разумеется, он живет не один. Там и родители, и прислуга, и еще, возможно, какие-нибудь братья и сестры. Получалось, что, в сущности, она знает о нем совсем немного: что он студент, пишет стихи, замечательно говорит о красоте трагической смерти. И еще что целуется он гораздо лучше, чем Костя Левониди, бывший будущий жених, решительно отставленный за скучную положительность и приземленность.

— Это знакомая Петра Теренчиевича, — пролепетала Коломбина самым тривиальным манером. — Некто Миронова.

Через минуту в трубке зазвучал знакомый баритон с обворожительной московской растяжкой:

— Хелло? Это госпожа Миронова? Помощница профессора Зимина?

К этому моменту обитательница шикарного номера уже взяла себя в руки. Пустив в раструб аппарата струйку сизого дыма, прошептала:

— Это я, Коломбина.

— Кто-кто? — удивился Петя. — Так вы не госпожа Миронова с кафедры римского права?

Пришлось пояснить непонятливому:

— Помнишь беседку над Ангарой? Помнишь, как ты называл меня «Коломбиной»? — И сразу после этого отлично встала дорожная

заготовка. — Это я. Как сибирский снег на голову. Приехала к тебе. Делай со мной, что хочешь. Знаешь отель «Элизиум»? — После звучного слова она сделала паузу. — Приезжай. Жду.

Проняло! Петя часто задышал и стал говорить гулко — вероятно, прикрыл трубку ладонью.

— Машенька, то есть Коломбина, я ужасно рад, что вы приехали... — Они и в самом деле были в Иркутске на «вы», но сейчас это обращение показалось искательнице приключений неуместным, даже оскорбительным. — Действительно, как снег... Нет, то есть это просто замечательно! Только прибыть к вам сейчас я никак не смогу. У меня завтра переэкзаменовка. Да и поздно, маменька пристанет с расспросами...

И дальше залепетал что-то уж совсем жалкое о проваленном экзамене и честном слове, данном отцу.

Отражение в зеркале захлопало светлыми ресницами, уголки губ поползли книзу. Кто бы мог подумать, что коварный соблазнитель Арлекин перед любовной эскападой должен отпрашиваться у маменьки. Да и зря потраченных пятнадцати рублей было ужасно жалко.

— Зачем вы в Москву? — прошептал Петя. — Неужто специально для того, чтобы свидеться со мной?

Она рассмеялась — получилось очень хорошо, с хрипотцой. Надо полагать, из-за папиросы. Чтобы не слишком заносился, сказала загадочно:

— Встреча с тобой — не более чем прелюдия к иной Встрече. Ты меня понимаешь?

И продекламировала из Петиного же стихотворения:

Жизнь прожить, как звенящую строчку.
Не колеблясь, поставить в ней точку.

Тогда, в беседке, прежняя, еще глупенькая Маша со счастливой улыбкой прошептала (теперь стыдно вспомнить): «Это, верно, и есть счастье». Московский гость снисходительно улыбнулся: «Счастье, Машенька, это совсем другое. Счастье — не мимолетное мгновение, а вечность. Не запятая, а точка». И прочел стихотворение про строчку и точку. Маша вспыхнула, рывком высвободилась из его объятий и встала на самый край обрыва, под которым вздыхала темная вода. «Хочешь, поставлю точку прямо сейчас? — воскликнула она. — Думаешь, испугаюсь?»

— Вы... Ты это серьезно? — прозвучало в трубке совсем уж тихо. —

Не думай, я не забыл...

— Еще бы не серьезно, — усмехнулась она, заинтригованная особенной интонацией, прозвучавшей в Петинем голосе.

— Одно к одному... — зашептал Петя непонятное. — Как раз и вакансия... Рок. Судьба... Эх, была не была... Вот что... Давайте, то есть давай встретимся завтра, в четверть девятого... Да, именно в четверть... Ну где бы?

Сердце Коломбины забилося быстро-быстро — она попыталась угадать, какое место назначит он для свидания. Парк? Мост? Бульвар? А заодно попробовала сосчитать, по средствам ли будет оставить за собой номер в «Элизиуме» еще на одну ночь. Это выйдет тридцать рублей, целый месяц жизни! Безумие!

Но Петя сказал:

— Подле Ягодного рынка на Болоте.

— На каком еще болоте? — поразились Коломбина.

— На Болотной площади, это близко от «Элизиума». А оттуда я повезу тебя в одно совершенно особенное место, где ты повстречаешь совершенно особенных людей.

Он произнес это так таинственно, так торжественно, что Коломбина не испытала и тени разочарования — наоборот, явственно ощутила тот самый волшебный «трепет без конца» и поняла: приключения начинаются. Пусть не совсем так, как ей представлялось, но все же в Город Грез она приехала не зря.

До поздней ночи сидела в кресле у распахнутого окна, кутаясь в плед, и смотрела, как по Москве-реке плывут темные баржи с покачивающимися фонариками.

Было ужасно любопытно, что это за «особенные люди» такие.

Поскорей бы уж наступил завтрашний вечер!

Последний миг Клеопатры

Когда Коломбина проснулась на необъятном ложе, так и не ставшем алтарем любви, до вечера все равно было еще очень далеко. Она понежилась на пуховой перине, протелефонировала на первый этаж, чтобы принесли кофе, и в ознаменование новой, утонченной жизни выпила его без сливок и сахара. Было горько и невкусно, зато богемно.

В фойе, уже расплатившись за номер и сдав чемоданы в камеру хранения, пролистала страницы объявлений «Московских губернских

ведомостей». Выписала несколько адресов, выбирая дома не ниже трех этажей и чтоб квартира была непременно на самом верху.

Поторговалась с извозчиком: он хотел три рубля, она давала рубль, столковались за рубль сорок. Цена хорошая, если учесть, что за эту сумму ванька взялся свозить барышню по всем четырем адресам, но получилось, что все одно переплатила — первая же квартира, в самом что ни есть центре, в Китай-городе, так понравилась приезжей, что ехать дальше смысла не было. Попробовала откупиться от извозчика рублем (и то много, за пятнадцать-то минут), но он, психолог, сразил провинциалку словами: «У нас в Москве будь хоть вор, да держи уговор». Покраснела и заплатила, только потребовала, чтоб доставил из «Элизиума» багаж, и на этом стояла твердо.

Квартира была истинное загляденье. И месячная плата по московским ценам недорогая — как одна ночевка в «Элизиуме». В Иркутске за такие деньги, конечно, можно снять целый дом с садом и прислугой, ну так ведь тут не сибирская глушь, а Первопрестольная.

Да в Иркутске таких домов и не видывали. Высоченный, в шесть этажей! Двор весь каменный, ни травиночки. Сразу чувствуется, что живешь в настоящем городе, а не в деревне. Переулочек, куда выходят окна комнаты, узкий-преузкий. Если в кухне встать на табурет и выглянуть в форточку, видно кремлевские башни и шпили Исторического музея.

Жилье, правда, располагалось не в мансарде и не на чердаке, как мечтала Коломбина, но зато на последнем этаже. Прибавьте к этому полную меблировку, газовое освещение, чугунную американскую плиту. А сама квартира! Коломбина в жизни не видывала ничего столь восхитительно несуразного.

Как войдешь с лестницы — коридорчик. Из него направо вход в жилую комнату (единственную), из комнаты поворачиваешь налево и оказываешься в кухоньке, там налево опять проход, где ватер-клозет с умывальником и ванной, а дальше коридор опять выводил в прихожую. Получалось этакое нелепейшее кольцо, непонятно кем и для какой надобности спроектированное.

При комнате имелся балкон, в который новоиспеченная москвичка сразу влюбилась. Был он широкий, с ажурной чугунной решеткой, и — что особенно пленяло своей бессмысленностью — в оградку врезана калитка. Зачем — непонятно. Может быть, строитель предполагал прикрепить снаружи пожарную лестницу да потом передумал?

Коломбина отодвинула тугой засов, распахнула тяжелую дверку, глянула вниз. Под носками туфель, далеко-далеко, ехали маленькие

экипажи, ползли куда-то игрушечные человечки. Это было так чудесно, что небожительница даже запела.

На другой стороне, только ниже, блестела железная крыша. Из-под нее чуть не до середины переулка выпятилась перпендикуляром диковинная жестяная фигура: упитанный ангел с белыми крыльями, под ним покачивающаяся вывеска **«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЁБИУС И СЫНОВЬЯ. С нами ничто не страшно»**. Прелесть что такое!

Были, впрочем, и минусы, но несущественные.

Что элеватора нет, это пускай — долго ль взбежать на шестой этаж?

Озаботило другое. Хозяин честно предупредил будущую жиличку, что не исключается явление мышей или, как он выразился, «домашних грызунков-с». В первую минуту Коломбина расстроилась — с детства боялась мышей. Бывало, услышит ночью перестук крохотных ножек по полу и сразу зажмурится до огненных кругов под веками. Но то было в прошлой, ненастоящей жизни, тут же сказала себе она. Коломбина — существо слишком легкомысленное и бесшабашное, чтобы чего-то пугаться. Они теперь ее союзники, эти быстрые, пружинистые зверьки, ибо, как и она, принадлежат не дню, а ночи. На худой конец, можно купить колбасы «Антикрысин», рекламу которой печатают «Ведомости».

Днем, отправившись на рынок за провизией (ох и цены же были в Москве!), Коломбина обзавелась еще одним союзником из ночного, лунного мира.

Купила у мальчишек за восемь копеек ужаика. Он был маленький, переливчатый, в корзине сразу свернулся колечком и затих.

Зачем купила? А затем же — чтобы поскорей вытравить из себя Машу Миронову. Та, дуреха, змей еще больше, чем мышей боялась. Как увидит где-нибудь на лесной тропинке, то-то крику, то-то визгу.

Дома Коломбина, решительно закусив губу, взяла рептилию в ладони. Змейка оказалась не мокрая и скользкая, как можно было предположить по виду, а сухая, шершавая, прохладная. Крошечные глазенки смотрели на великаншу с ужасом.

Мальчишки сказали — класть змеюку в молоко, чтоб не скисло, а подрастет — сгодится мышей ловить. Однако Коломбине пришла в голову другая мысль, куда более интересная.

Первым делом она накормила ужа простоквашей (он поел и сразу пристроился спать); затем дала ему имя — Люцифер; после закрасила черной тушью желтые пятнышки по бокам головы — и получился не уж, а некое таинственное пресмыкающееся, очень возможно, что смертельно ядовитое.

Разделась перед зеркалом до пояса, приложила к обнаженной груди разомлевшую от сытости змею и залюбовалась: вышло inferально. Чем не «Последний миг Клеопатры»?

Счастливый билет

К встрече с Арлекином она готовилась несколько часов и вышла из дому загодя, чтоб не спеша совершить свой первый парадный променад по московским улицам, дать городу возможность полюбоваться новой обитательницей.

Оба — и Москва, и Коломбина — произвели друг на друга изрядное впечатление. Первая этим пасмурным августовским вечером была вялой, скучающей, блазированной; вторая — настороженной и нервной, готовой к любым неожиданностям.

Для московской премьеры Коломбина выбрала наряд, какого здесь наверняка еще не видывали. Шляпку как буржуазный предрассудок надевать не стала, распустила густые волосы, перетянула их широкой черной лентой, собрав ее сбоку, ниже правого уха, в пышный бант. Поверх шелковой лимонной блузы с испанскими рукавами и многослойным жабо надела малиновый жилет с серебряными звездочками; необъятная юбка — синяя, переливчатая, с бесчисленными сборками — колыхалась наподобие океанских волн. Важной деталью дерзкого костюма был оранжевый кушак с деревянной пряжкой. В общем, москвичам было на что посмотреть. А некоторых особенно приглядчивых ожидало и дополнительное потрясение: черная поблескивающая ленточка на шее умопомрачительной фланерки при ближайшем рассмотрении оказывалась живой змеей, которая по временам вертела туда-сюда узкой головкой.

Сопровождаемая охами и взвизгами, Коломбина гордо прошла через Красную площадь, через Москворецкий мост и повернула на Софийскую набережную, где гуляла приличная публика. Тут уж не только себя показывала, но и сама смотрела во все глаза, набиралась впечатлений.

Москвички одевались по большей части скучно: прямая юбка и белая блузка с галстуком или шелковые платья тоскливых темных тонов. Впечатляла величина шляпок, которые в этом сезоне были что-то уж очень пышны. Экстравагантных дам и барышень почти не попадалось. Разве что одна, с развевающимся газовым шарфиком через плечо. Да еще проехала верхом пепельно-жемчужная амазонка под вуалью, держа в руке длинный янтарный мундштук с папиросой. Стильно, решила Коломбина, проводив

амазонку взглядом.

Молодых людей в блузе и берете, с длинными волосами и бантом на груди в Москве, оказывается, водилось немало. Одного она по ошибке даже окликнула, приняв сзади за Петю.

К месту свидания явилась нарочно с двадцатиминутным опозданием, для чего пришлось пройти по набережной взад-вперед дважды.

Арлекин ждал подле фонтана, где извозчики поят лошадей, и был совершенно таким же, как в Иркутске, но здесь, среди гранитных набережных и тесно сдвинутых домов, Коломбине этого показалось недостаточно. Отчего он не изменился за эти месяцы? Отчего не стал чем-то большим, или чем-то новым, или чем-то другим?

И повел себя Петя как-то неправильно. Покраснел, замялся. Хотел поцеловать, но не решился — вместо этого преглупо протянул руку. Коломбина взглянула на его ладонь с веселым недоумением, будто в жизни не видывала предмета забавней. Тогда он еще пуще смешался и сунул ей лиловые фиалки.

— Зачем мне эти трупики цветов? — капризно пожала она плечами.

Подошла к извозничьей кобыле, протянула букетик ей. Савраска равнодушно накрыла фиалки большой дряблой губой и в два счета их сжевала.

— Скорей, мы опаздываем, — сказал Петя. — У нас это не принято. Там, перед мостом, конка останавливается. Идем!

Поглядывал на спутницу нервно, шепнул:

— На вас все смотрят. В Иркутске вы одевались иначе.

— Я тебя фраппирую? — с вызовом спросила Коломбина.

— Что вы... То есть, что ты! — испугался он. — Я же поэт и мнение толпы презираю. Просто очень уж необычно... Впрочем, неважно.

Неужто он меня стесняется, удивилась она. Разве Арлекины умеют стесняться? Оглянулась на свое отражение в освещенной витрине и внутренне дрогнула — очень уж впечатляющий был наряд, но подступившая робость тут же была с позором изгнана. Это жалкое чувство навсегда осталось там, за рогатыми уральскими горами.

В вагоне Петя вполголоса рассказывал о месте, куда едут.

— Такого клуба в России нигде больше нет, даже в Петербурге, — говорил он, щекоча ей ухо своим дыханием. — Что за люди, ты таких у себя в Иркутске не видела! У нас все под особенными именами, каждый сам себе выдумывает. А некоторых нарекает дож. Меня, например, он окрестил «Керубино».

— Керубино? — разочарованно переспросила Коломбина и подумала,

что Петя и в самом деле куда больше похож на кудрявого пажа, чем на самоуверенно-победительного Арлекина.

Интонацию вопроса Петя понял неправильно — горделиво приосанился.

— Это еще что. У нас есть прозвища и почуднее. Аваддон, Офелия, Калибан, Гораций. А Лорелея Рубинштейн...

— Как, там бывает сама Лорелея Рубинштейн?! — ахнула провинциалка. — Поэтесса?

Было от чего ахнуть. Пряные, бесстыдно чувственные стихи Лорелеи доходили до Иркутска с большим опозданием. Передовые барышни, понимающие современную поэзию, знали их наизусть.

— Да, — с важным видом кивнул Керубино-Петя. — У нас ее прозвище — Львица Экстаза. Или просто Львица. Хотя, конечно, все знают, кто это на самом деле.

Ах, как сладко стиснулось у Коломбины в груди! Щедрая Фортуна открывала перед ней двери в самое что ни на есть избранное общество, и на Петю она теперь смотрела гораздо ласковей, чем прежде.

А он рассказывал дальше.

— Главный в кружке — Просперо. Человек, каких мало — даже не один на тысячу, а один на миллион. Он уже очень немолод, волосы все седые, но об этом сразу забываешь, столько в нем силы, энергии, магнетизма. В библейские времена такими, наверное, были пророки. Да он и есть вроде пророка, если вдуматься. Сам из бывших шлиссельбуржцев, много лет просидел в каземате за революционную деятельность, но о прежних своих воззрениях никогда не рассказывает, потому что совершенно отошел от политики. Говорит: политика — это для массы, а все, что массовое, красивым не бывает, ибо красота всегда единственна и неповторима. С виду Просперо суровый и часто бывает резким, но на самом деле он добрый и великодушный, все это знают. Тайком помогает деньгами тем из соискателей, кто нуждается. Он раньше, еще до крепости, был инженером-химиком, а теперь получил наследство и богат, так что может себе это позволить.

— Кто такие «соискатели»? — спросила она.

— Так называются члены клуба. Мы все поэты. Нас двенадцать человек, всегда двенадцать. А Просперо у нас — дож. Это все равно что председатель, только председателя выбирают, а тут наоборот: дож сам выбирает, кого принимать в члены, а кого нет.

Коломбина встревожилась:

— Но если вас должно быть непременно двенадцать, то как же быть со

мной? Я получаюсь лишняя?

Петя таинственно произнес:

— Когда один из соискателей венчается, на освободившееся место можно привести нового. Разумеется, окончательное решение принимает Просперо. Но прежде, чем я введу тебя в его дом, ты должна поклясться, что никогда и никому не передашь того, что я тебе поведал.

Венчается? Освободившееся место? Коломбина ничего не поняла, но, конечно, сразу же воскликнула:

— Клянусь небом, землей, водой и огнем, что буду молчать!

На нее заборачивались с соседних скамеек, и Петя приложил палец к губам.

— А чем вы там занимаетесь? — перешла на шепот умирающая от любопытства Коломбина.

Ответ был торжественен:

— Служим Вечной Невесте и посвящаем Ей стихи. А некоторые, избранные счастливы, приносят Ей и высший дар — собственную жизнь.

— А кто это, вечная невеста?

Он ответил коротким, свистящим словом, от которого у Коломбины сразу пересохло во рту:

— Смерть.

— А... а почему смерть — это невеста? Ведь среди соискателей есть и женщины — та же Лорелея Рубинштейн. Зачем ей невеста?

— Это только так говорится, потому что по-русски «смерть» женского рода. Само собой, для женщин Смерть — Вечный Жених. У нас вообще всё очень поэтично. Для соискателей Смерть это как бы *la belle dame sans merci*, Прекрасная Дама, которой мы посвящаем стихи, а если понадобится, то и самое жизнь. Для соискательниц же Смерть — Прекрасный Принц или Заколдованный Царевич, это смотря по вкусу.

Коломбина сосредоточенно наморщила лоб:

— И как же свершается обряд венчания?

Тут Петя взглянул на нее так, будто перед ним была какая-нибудь дикая папуаска с костяшкой в носу. Недоверчиво прищурился:

— Ты что, не слыхала о «Любовниках Смерти»? Да об этом пишут все газеты!

— Газет не читаю, — надменно объявила она. — Это слишком обыкновенно.

— Господи! Так ты ничего не знаешь о московских самоубийствах?

Коломбина осторожно помотала головой.

— Уже четверо наших обручились со Смертью. — Петя придвинулся

ближе, его глаза заблестели. — И каждому сразу же нашлась замена! Еще бы — ведь о нас говорит весь город! Только никто не знает, где мы и кто мы! Если ты приехала в Москву, чтобы «поставить точку», тебе невероятно, фантастически повезло. Ты, можно сказать, вытаскала счастливый билет. Обратилась именно к тому человеку, который действительно может тебе помочь. У тебя есть шанс уйти из жизни без пошлого провинциализма, умереть не как овца на бойне, а возвышенно, осмысленно, красиво! Может быть, мы даже уйдем с тобой вместе, как Моретта и Ликантроп. — Его голос вдохновенно зазвенел. — Как раз на вакансию Моретты я и хочу тебя предложить.

— А кто это — Моретта? — в восторге воскликнула Коломбина, заразившись его возбуждением, но по-прежнему еще ничего не поняв.

Она знала за собой этот недостаток — несообразительность. Нет, глупой она себя вовсе не считала (слава Богу, поумней многих), просто ум был немножко медленный — подчас сама на себя раздражалась.

— Моретта и Ликантроп — самые новейшие избранники, — шепотом объяснил Петя. — Получили Знак и тут же застрелились, одиннадцать дней назад. Место Ликантропа уже занято. Вакансия Моретты — последняя.

У бедной Коломбины голова шла кругом. Она схватила Петю за руку.

— Знак? Какой знак?

— Смерть подает своему избраннику или избраннице Знак. Без Знака убивать себя нельзя — это строжайше запрещено.

— Да что это такое — Знак? Какой он?

— Он всякий раз иной. Это невозможно предугадать, но и ошибиться тоже невозможно...

Петя внимательно поглядел на побледневшую спутницу. Нахмурился:

— Испугалась? И правильно, у нас ведь не в игрушки играют. Смотри, еще не поздно уйти. Только помни про данную клятву.

Она и вправду испугалась. Не смерти, конечно, а того, что он сейчас передумает брать ее с собой. Очень кстати вспомнилась рекламная вывеска компании «Мёбиус».

— С тобой мне ничто не страшно, — сказала Коломбина, и Петя просиял.

Воспользовавшись тем, что она сама взяла его за руку, стал поглаживать пальцем девичью ладонь, и Коломбину охватило безошибочное предчувствие: сегодня это непременно свершится. Она ответила на пожатие. Так они и ехали через площади, улицы и бульвары. Некоторое время спустя руки вспотели, и Коломбина, сочтя этот природный феномен вульгарным, пальцы высвободила. Однако Петя уже

осмелел. Победительно положил ей руку на плечо. Погладил шею.

— Ожерелье из змеиной кожи? — шепнул в самое ухо. — Бонтонно.

Вдруг тихонечко вскрикнул.

Коломбина повернулась, увидела, как стремительно расширяются Петины зрачки.

— Там... там... — пролепетал он, не в силах пошевелиться. — Что это?

— Египетская кобра, — объяснила она. — Живая. Знаешь, Клеопатра такой себя умертвила.

Он дернулся, прижавшись к окну. Руки сцепил на груди.

— Не бойся, — сказала Коломбина. — Люцифер моих друзей не кусает.

Петя кивнул, глядя на подвижное черное ожерелье, но придвинуться больше не пытался.

Сошли на круто идущей вверх зеленой улице, которую Петя назвал Рождественским бульваром. Свернули в переулок.

Был уже десятый час, стемнело, и зажглись фонари.

— Вот он, дом Просперо, — тихонько сказал Петя, показав на одноэтажный особнячок.

Собственно, Коломбина разглядела в темноте лишь шесть зашторенных окон, наполненных изнутри таинственным красноватым сиянием.

— Ну что же ты встала? — поторопил остановившуюся спутницу Петя. — Полагается приходить ровно в девять, мы опаздываем.

А Коломбину в этот миг вдруг охватило непреодолимое желание развернуться и со всех ног побежать назад на бульвар, а потом вниз, к широкой тусклой площади, и дальше, дальше. Да не в тесную китайгородскую квартирку, пропади она пропадом, а напрямик на вокзал и чтобы сразу в поезд. Колеса застучат, начнут сматывать нитку железной дороги обратно, та снова свернется в клубок, и все будет, как раньше...

— Это ты встал, — сердито сказала Коломбина. — Давай, води к твоим «любовникам».

Коломбина слышит голоса духов

Петя открыл входную дверь без стука, пояснив:

— Просперо прислуги не признает. Всё делает сам — привычка ссыльного.

В прихожей было совсем темно, и Коломбина ничего толком не разглядела, кроме уходящего вглубь дома коридора да белой двери. В расположенном за дверью просторном салоне оказалось немногим светлей. Лампы там не горели — лишь несколько свечей на столе и еще, чуть в сторонке, чугунная жаровня с ало тлеющими углями. На стенах корчились кривые тени, на полках посверкивали золотом корешки книг, а сверху мерцала подвесками незажженная хрустальная люстра.

Лишь когда глаза немного свыклись с тусклым освещением, Коломбина поняла, что в комнате не так мало народу — пожалуй, человек десять, а то и больше.

Кажется, Петя Лилейко числился среди «соискателей» птицей невысокого полета. На его робкое приветствие кое-кто кивнул, прочие же продолжали тихо переговариваться между собой. Холодный прием смутил Коломбину, и она тут же решила, что будет держаться независимо. Подошла к столу, прикурила от свечки и громко, через всю гостиную, спросила своего спутника:

— Ну, который здесь Просперо?

Петя вжал голову в плечи. Стало очень тихо. Однако Коломбина увидела, что на нее смотрят с любопытством, и бояться сразу перестала — оперлась рукой о бедро, как на рекламе папирос «Кармен», и выпустила вверх струйку голубого дыма.

— Что вы, незнакомка, — сказал одутловатый господин в чесучовой визитке, с виртуозно зачесанной проплешиной на темени. — Дож появится позже, когда всё будет готово.

Он подошел ближе, остановился в двух шагах и принялся бесцеремонно оглядывать Коломбину сверху донизу. Она ответила точно таким же взглядом.

— Это Коломбина, я привел ее кандидаткой, — виновато проблеял Петя, за что немедленно был наказан.

— Керубинчик, — сладким голосом сказала новенькая. — Разве маменька тебя не учила, что следует представлять мужчину даме, а не наоборот?

Чесучовый господин немедленно представился сам — прижал руку к груди, поклонился:

— Я — Критон. У вас сумасшедшее лицо, мадемуазель Коломбина. В нем упоительным образом соединяются невинность и разврат.

Судя по тону, это был комплимент, однако на «невинность» Коломбина обиделась.

— «Критон» — это, кажется, что-то из химии?

Хотела насмешничать, показать тертому субъекту, что перед ним не какая-нибудь инженерю, а зрелая, уверенная в себе женщина. Увы, вместо этого срезалась хуже, чем на экзамене по литературе, когда назвала Гете вместо Иоганна-Вольфганга Иоганном-Себастьяном.

— Это из «Египетских ночей», — со снисходительной улыбкой ответил чесучовый. — Помните?

Тра-та-та-та, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура.
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.

Нет, Коломбина совсем этого не помнила. Она даже не помнила, кто такие Хариты.

— Любите ли вы предаваться любви ночью, на крыше, под рев урагана, когда тугие струи ливня хлещут ваше нагое тело? — не понижая голоса осведомился Критон. — А я очень люблю.

Бедная иркутянка не нашлась, что на это ответить. Оглянувшись на Петю, но тот, предатель, с озабоченным видом отошел в сторону, заведя разговор с бедно одетым молодым человеком, очень нехорошим собой: с выпуклыми горящими глазами, широким подвижным ртом и россыпью угрей на лице.

— У вас должно быть упругое тело, — предположил Критон. — Стреловидное и поджарое, как у молодой хищницы. Я так и вижу вас в позе изготавившейся к прыжку пантеры.

Что было делать? Как отвечать?

По иркутскому кодексу поведения следовало бы вклеить нагледцу оплеуху, но здесь, в кругу избранных, это было немыслимо — сочтут ханжой или, того хуже, жеманной провинциалкой. Да и что тут оскорбительного, сказала себе Коломбина. В конце концов этот человек говорит, что думает, а это честнее, чем заводить с понравившейся женщиной разговор о музыке или каких-нибудь там язвах общества. На «младого мудреца» Критон несколько не походил, и все же от его дерзких речей Коломбину бросило в жар — прежде с ней никогда так не разговаривали. Она присмотрелась к откровенному господину повнимательней и решила, что он, пожалуй, чем-то похож на лесного бога Пана.

— Я хочу научить вас страшному искусству любви, юная

Коломбина, — проворковал козлоногий обольститель и стиснул ее руку — ту самую, которую еще недавно сжимал Петя.

Коломбина стояла словно одеревеневшая и послушно позволяла мять свои пальцы. С папиросы на пол упал столбик пепла.

В эту минуту по салону пронеслось быстрое перешептывание, и все повернулись к высокой кожаной двери.

Сделалось совсем тихо, слышались мерные приближающиеся шаги. Потом дверь бесшумно распахнулась, и на пороге возник силуэт — неправдоподобно широкий, почти квадратный. Но в следующее мгновение человек шагнул в комнату, и стало видно, что он самого обыкновенного телосложения, просто одет в широкую черную мантию наподобие тех, что носят европейские судьи или университетские доктора.

Никаких приветствий произнесено не было, однако Коломбине показалось, что стоило кожаным створкам бесшумно раскрыться, и всё вокруг неуловимым образом переменилось: тени стали чернее, огонь ярче, звуки приглушенней.

Сначала вошедший показался ей глубоким стариком: седые волосы, по-старинному остриженные в кружок, короткая белая борода. Тургенев, подумала Коломбина. Иван Сергеевич. Ужасно похож. Точь-в-точь как на портрете в гимназической библиотеке.

Однако, когда человек в мантии встал подле жаровни и багровый отсвет озарил снизу его лицо, оказалось, что глаза у него вовсе не стариковские — черные, сияющие, и пылают еще ярче, чем угли. Коломбина разглядела породистый нос с горбинкой, густые белые брови, мясистые щеки. *Маститый* — вот он какой, сказала себе она. Как у Лермонтова: «Маститый старец седовласый». Или не у Лермонтова? Ах, неважно.

Маститый старец обвел медленным взглядом присутствующих, и сразу стало ясно, что от этих глаз не утаится ни единая деталь и даже, возможно, ни одна потаенная мысль. Спокойный взгляд всего на миг, не долее, задержался на лице Коломбины, и та вдруг покачнулась, вздрогнула всем телом.

Сама не заметила, как выдернула руку из пальцев «учителя страшной любви», прижала к груди.

Критон прошептал ей на ухо — насмешливо:

— А вот еще из Пушкина.

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,

Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображение красоты
Влагают страстные мечты.

— Это у вас, что ли, «русы кудри молодые»? — огрызнулась уязвленная барышня. — Да и вообще, ну вас с вашим Пушкиным!

Демонстративно отошла, встала рядом с Петей.

— Это и есть Просперо, — тихонько сообщил тот.

— Без тебя догадалась.

Хозяин дома метнул на шепчущихся короткий взгляд, и сразу наступила абсолютная тишина.

Дождь протянул руку к жаровне, сделавшись похож на Муция Сцевола с гравюры в учебнике истории для четвертого класса. Вздыхнул и произнес одно-единственное слово:

— Темно.

А потом — все присутствующие так и ахнули — положил раскаленный уголь себе на ладонь. И в самом деле Сцевола!

— Пожалуй, так будет лучше, — спокойно произнес Просперо, поднес огненный комочек к большому хрустальному канделябру и зажег одну за другой двенадцать свечей.

Осветился круглый стол, накрытый темной скатертью. Мрак отступил в углы гостиной, и Коломбина, наконец-то получившая возможность рассмотреть «любовников Смерти» как следует, завертела головой во все стороны.

— Кто будет читать? — спросил хозяин, садясь на стул с высокой резной спинкой.

Остальные стулья, расставленные вокруг стола, числом двенадцать, были попроще и пониже.

Откликнулись сразу несколько человек.

— Начнет Львица Экстаза, — объявил Просперо.

Коломбина уставилась на знаменитую Лорелею Рубинштейн во все глаза. Та оказалась совсем не такой, как можно было бы предположить по стихам: не тонкая, хрупкая лилия, с порывистыми движениями и огромными черными очами, а довольно массивная дама в бесформенном балахоне до пят. На вид Львице можно было дать лет сорок, и это еще в полумраке.

Она кашлянула и низким, рокошущим голосом сказала:

— «Черная роза». Написано минувшей ночью.

Пухлые щеки взволнованно заколыхались, глаза устремились вверх, к радужно посверкивающей люстре, брови скорбно сложились домиком.

Коломбина слегка шлепнула Люцифера, чтоб не отвлекал, не елозил по шее, и вся обратилась в слух.

Декламировала знаменитость замечательно — со страстью, нараспев.

Придет ли Ночь, восторгами маня?
Случится ли Оно иль не случится?
Когда желанный Гость войдет в меня?
Войдет, не постучится.

Избранник мой на воле ли, в тюрьме
Горит и ярко светит,
Но черной розы в сокровенной тьме
Пройдет и не заметит

И Слово будет произнесено —
Молчание взорвется.
Да будет так. А то, что не дано,
Уйдет и не вернется.

Подумать только — услышать новое, только что написанное стихотворение Лорелеи Рубинштейн! Самой первой, в числе немногих избранных!

Коломбина громко зааплодировала и тут же сбилась, поняв, что совершила faux pas. Аплодисменты здесь, кажется, были не в заводе. Все — в том числе Просперо — молча посмотрели на экзальтированную девицу. Та застыла с растопыренными ладонями и покраснела. Опять срезалась!

Кашлянув, дож негромко молвил, обращаясь к Лорелее:

— Обычный твой недостаток: изысканно, но невнятно. Но про черную розу интересно. Что значит для тебя черная роза? Впрочем, не говори. Догадаюсь сам.

Он прикрыл веки, опустил голову на грудь. Все ожидали, затаив дыхание, а щеки поэтессы запунцовели румянцем.

— А дож пишет стихи? — тихо спросила Коломбина у Пети.

Тот приложил палец к губам, но она сердито сдвинула брови, и он почти беззвучно прошелестел:

— Да. И наверняка гениальные. Ведь никто лучше него не понимает поэзию.

Ответ показался ей странным:

— «Наверняка»?

— Свои стихи он никому не показывает. Говорит, что они пишутся не для людей и что перед Уходом он всё написанное уничтожит.

— Какая жалость! — вырвалось у нее громче нужного.

Просперо опять взглянул на гостью, и опять ничего не сказал.

— Я понял, — улыбнулся он Лорелее ласковой и печальной улыбкой. — Понял.

Та просияла, а дож повернулся к аккуратному, тихому человечку в пенсне и с бородкой клинышком.

— Гораций. Ты обещал, что сегодня наконец придешь со стихами. Ничего не поделаешь. Ведь тебе известно, что Невеста допускает к Себе только поэтов.

— Гораций врач, — сообщил Петя. — Вернее, прозектор — режет трупы в анатомичке. Поступил на место Ланселота.

— А что случилось с Ланселотом?

— Отравился. И компанию с собой прихватил, — непонятно ответил Петя, но расспрашивать было не ко времени — Гораций приготовился читать.

— Я, собственно, впервые имею дело с поэзией... Изучил руководство по стихосложению, очень старался. И вот м-м, в некотором роде, результат.

Он смущенно откашлялся, поправил галстук и достал из кармана сюртука сложенный листок. Хотел начать, но, видно, решил, что объяснил недостаточно:

— Стихотворение по моей, так сказать, профессиональной линии... Тут даже и термины встречаются... Только вот рифма облегченная, во второй и четвертой строках, а то с непривычки очень уж трудно... После уважаемой м-м... Львицы Экстаза, мои стишки, конечно, будут тем более нехороши, но... В общем, представляю на ваш строгий суд. Стихотворение называется «Эпикриз».

Когда взрезает острый скальпель
Брюшную полость юной дамы,
Что проглотила сто иголок,
Не вынеся любовной драмы,

Не знаешь, плакать иль смеяться,

От чувства странного дрожа:
Так человеческий желудок
Похож на мокрого ежа.

Когда вскрываешь черепную
Коробку юнкера, который,
Бордель впервые посетив,
Суд над собой исполнил скорый,

Найдешь среди каши омертвелой
То, что искал. Чудесный вид:
Свинца кусочек в надбугорье,
Как жемчуг, матово блестит.

Читающий сбился, смял листок и спрятал обратно в карман.

— Я еще хотел описать легкие утопленницы, но не получилось. Только одну строчку придумал: «Средь сизой массы ноздреватой», а дальше никак... Что, господа, очень плохо, да?

Все молчали, ожидая вердикта председателя (из всех присутствующих сидел по-прежнему лишь он один).

— «Эпикриз» — это, кажется, заключительная часть медицинского диагноза, — задумчиво произнес Просперо. — А что такое «надбугорье»?

— Надбугорье — это русское название эпиталамуса, — охотно пояснил Гораций.

— У-гу, — протянул Просперо. — Вот тебе мой эпикриз: стихи ты писать не умеешь. Но ты и в самом деле заморожен многообразием ликов Смерти. Кто следующий?

— Учитель, позвольте мне! — поднял руку плечистый верзила с грубым лицом, на котором странно смотрелись широкие, по-детски наивные глаза. Уж этому-то на что Вечная Невеста, удивилась Коломбина. Ему бы плоты по Ангаре гонять.

— Дождь окрестил его Калибаном, — шепнул Петя и счел нужным пояснить. — Это из Шекспира. [Коломбина кивнула: из Шекспира так из Шекспира.] Он теперь служит бухгалтером в каком-то ссудно-кредитном товариществе. А раньше был счетоводом в Добровольном флоте, плавал по океанам, но попал в крушение, чудом остался жив и в море больше не ходит.

Она улыбнулась, довольная своими физиогномистическими

способностями — не так уж и ошиблась, насчет плотов-то.

— В умственном отношении полное ничтожество, инфузория, — наябедничал Петя и завистливо добавил. — А Просперо его отличает.

Калибан, громко топая, вышел на середину комнаты, отставил ногу и зычным голосом стал выкрикивать весьма странные вирши:

Остров смерти

Шумит океан широкий,
Синеют высокие волны.
Меж ними остров одинокий,
Весь призраками полный.

Одни лежат на песке,
И по ним ползают крабы.
Другие гуляют в тоске,
Свое мясо сыскать дабы.

Но мяса нет на костях,
Остались одни скелеты.
Внушает ужас и страх
Картина жуткая эта.

Я ночью спать не могу,
И днем я стучу зубами.
На дальнем том берегу
Хочу быть, призраки, с вами.

Будем вместе гулять, как бывало,
Скалить мертвые рты свои
И на зубчатые скалы
Заманивать корабли.

Сначала Коломбина чуть не фыркнула, но Калибан декламировал свои нескладушки с таким чувством, что смеяться ей вскоре расхотелось, а от последней строфы по коже пробежали мурашки.

Она взглянула на Просперо, несколько не сомневаясь, что строгий

судья, осмелившийся критиковать саму Лорелею Рубинштейн, не оставит от этой жалкой поделки камня на камне.

Но не тут-то было!

— Очень хорошо, — провозгласил дож. — Какая экспрессия! Так и слышишь шум океанских волн, так и видишь пенистые гребни. Мощно. Впечатляет.

Калибан просиял счастливой улыбкой, от которой его квадратная физиономия совершенно преобразилась.

— Я же говорю, любимчик, — пробормотал в ухо Петя. — И что он только нашел в этом одноклеточном? Ага, а это мой сокурсник, Никифор Сипяга. Он меня сюда и ввёл.

Настал черёд того самого некрасивого, угреватого юноши, с которым Петя давеча разговаривал.

Дождь покровительственно кивнул:

— Слушаем тебя, Аваддон.

— Сейчас «Ангела бездны» прочтет, — сообщил Петя. — Я уже слышал. Это его лучшее стихотворение. Интересно, что скажет Просперо.

Стихотворение было такое:

<i>Ангел бездны</i>

Отворился кладезь бездны.
Тьма суха и горяча.
С мерным грохотом железным
Тучей валит саранча.

Кто Божественной печали
В грешной жизни не познал,
Вмиг распознан и ужален
Мановеньем острых жал.

Серебристые копыта
Мнут податливую твердь.
Сражены, но не убиты
Призывают люди смерть.

Вожделенная награда
Ускользает, словно сон.

Смерти нет. Глядит из чада
Ангел бездны Аваддон.

Коломбине стихи очень понравились, но она уже не знала, как к ним следует относиться. Вдруг Просперо сочтет их бездарными?

Немного помедлив, хозяин сказал:

— Неплохо, совсем неплохо. Последняя строфа удалась. Но «ужален мановеньем острых жал» никуда не годится. И рифма «твердь-смерть» очень уж затаскана.

— Чушь! — раздался внезапно звонкий, сердитый голос. — Рифм к слову «смерть» всего четыре, и они не могут быть затасканы, как не может быть затаскана сама Смерть! Это рифмы к слову «любовь» пошлы и захватаны липкими руками, а к Смерти сор не пристаёт!

«Чушью» мнение мэтра обозвал миловидный юноша, на вид совсем еще мальчик — высокий, стройный, с капризно выгнутым ртом и лихорадочным румянцем на гладких щеках.

— Дело вовсе не в свежести рифмы, а в попадании! — не вполне связно продолжил он. — Рифмы — это самое мистическое, что есть на свете. Они как обратная сторона монеты! Возвышенное они могут выставлять смешным, а смешное возвышенным! За чваным словом «князь» прячется «грязь», за блестящим «Европа» — низменная брань, а за жалким «хлюзда», как обзывают слабых и беспомощных людей, наоборот, таится «звезда»! Меж явлениями и звуками, что их обозначают, существует особенная связь. Величайшим первооткрывателем будет тот, кто проникнет в глубину этих смыслов!

— Гдлевский, — со вздохом пожал плечами Петя. — Ему восемнадцать лет, еще гимназию не закончил. Просперо говорит, талантлив, как Рембо.

— Правда? — Коломбина пригляделась к вспыльчивому мальчику повнимательней, но ничего особенного в нем не разглядела. Ну, разве что хорошенький. — А как его прозвище?

— Никак. Просто «Гдлевский», и всё. Он не желает зваться по-другому.

Дождь на смутьяна ничуть не рассердился — напротив, смотрел на него с отеческой улыбкой.

— Ладно-ладно. По части теоретизирования ты не силен. Судя по тому, что так раскипятился из-за рифмы, у тебя в стихотворении тоже «твердь-смерть»?

Мальчик блеснул глазами и смолчал, из чего можно было заключить, что пронизательный дождь не ошибся.

— Ну же, читай.

Гдлевский потрянул головой, отчего на глаза ему упала светлая прядь, и объявил:

— Без названия.

Я — тень среди теней, одно из отражений,
Бредущих наугад юдольною тропой.
Но в вещие часы полночных песнопений
Скрижали звездные открыты предо мной.

Настанет срок, когда прощусь с земною твердью —
Зову я гибельность небесного огня —
И устремлюсь вдвоем с моей сестрою Смертью,
Туда, куда влекут предчувствия меня.

Над участью Певца не властен пошлый случай.
Но ключ к его судьбе — в провидческой строке.
Магическая цепь загадочных созвучий
Хранит пророчество на тайном языке.

Комментарий Просперо был таков:

— Ты пишешь всё лучше. Поменьше умствуй, побольше прислушивайся к звучащему в тебе голосу.

После Гдлевского читать стихи больше никто не вызвался, соискатели принялись вполголоса обсуждать услышанное между собой, а Петя тем временем рассказал своей протеже про остальных «соискателей».

— Это Гильденстерн и Розенкранц, — показал он на розовощеких близнецов, державшихся вместе. — Они сыновья ревельского кондитера, учатся в Коммерческом училище. Стихи у них пока не получаются — все сплошной «херц» да «шмерц». Оба очень серьезные, обстоятельные, в соискатели поступили из каких-то мудреных философских соображений и уж, верно, своего добьются.

Коломбина содрогнулась, представив, какой трагедией эта немецкая целеустремленность обернется для их бедной «мутти», но тут же устыдилась этой обывательской мысли. Ведь сама не так давно написала стихотворение, в котором утверждалось:

Лишь тот, кто безогляден и стремителен,
Способен жизнь свою испытать до дна.
Нет ничего — ни дома, ни родителей,
Есть только блеск игристого вина.

Еще там был низенький полный брюнет с длинным носом, вступавшим в решительное противоречие с пухлой физиономией, его звали Сирано.

— Этот особенно не мудрствует, — покривился Петя. — Знай себе копирует стихотворную манеру роистановского Бержерака: «В объятья Той, что мне мила, я попаду в конце посылки». Записной шутник, фигляр. Из кожи вон лезет, чтоб поскорее угодить на тот свет.

Последнее замечание заставило Коломбину приглядеться к последователю гасконского остроумца повнимательней. Когда Калибан рокошущим басом декламировал своё жуткое творение про скелетов, Сирано слушал с преувеличенно серьезной миной, а, поймав взгляд новенькой, вдруг изобразил череп: втянул щеки, выпучил глаза и сдвинул зрачки к своему впечатляющему носу. От неожиданности Коломбина прыснула, проказник же поклонился и снова принял сосредоточенный вид. Рвется на тот свет? Видно, не так всё просто в этом веселом толстячке.

— А вот это Офелия, она у нас на особом положении. Главная помощница Просперо. Мы все умрем, а она останется.

Юную девицу в простом белом платье Коломбина заметила лишь теперь, после Петиних слов, и заинтересовалась ею больше, чем прочими членами клуба. Ревниво отметила белую и чистую кожу, свежее личико, длинные выющиеся волосы — такие светлые, что в полумраке они казались белыми. Прямо ангел с пасхальной открытки. Лорелея Рубинштейн не считалась — толстая, старая и вообще небожительница, но эта нимфа, по мнению Коломбины, была здесь явно лишней. За всё время Офелия не проронила ни звука. Стояла с таким видом, будто не слышала ни стихов, ни разговоров, а прислушивалась к каким-то совсем иным звукам; широко раскрытые глаза смотрели словно сквозь присутствующих. Что еще за «особое положение» такое, ревниво нахмурилась новенькая.

— Какая-то она странная, — вынесла свой вердикт Коломбина. — И что он в ней нашел?

— Кто, дож?

Петя хотел объяснить, но Просперо властно поднял руку, и все разговоры сразу стихли.

— Сейчас начнется таинство, а между тем средь нас чужая, — сказал он, не глядя на Коломбину (у той сердце так и сжалось). — Кто привел ее?

— Я, Учитель, — волнуясь, ответил Петя. — Это Коломбина. Я за нее ручаюсь. Она еще несколько месяцев назад сказала мне, что устала от жизни и хочет непременно умереть молодой.

Теперь дож обратил на замершую девицу свой магнетический взгляд, и Коломбину из холода бросило в жар. О, как мерцали его строгие глаза!

— Ты пишешь стихи? — спросил Просперо.

Она молча кивнула, боясь, что дрогнет голос.

— Прочти одну строфу, любую. И тогда я скажу, можешь ли ты остаться.

Срежусь, сейчас срежусь, тоскливо подумала Коломбина и часто-часто захлопала ресницами. Что прочесть? Лихорадочно перебрав в памяти все свои стихотворения, она выбрала то, которым гордилась больше всего — «Бледный принц». Оно было написано в ночь, когда Маша прочла «Принцессу Грезу» и после прорыдала до утра.

Бледный принц опалил меня взором
Лучезарных зеленых глаз.
И теперь подвенечным убором
Не украсят с тобою нас.

«Бледный принц» — это было про Петю. Таким он представлялся ей в Иркутске. В ту пору она еще была немножко влюблена в Костю Левониди, который уж и предложение собирался делать (теперь смешно вспомнить!), а тут появился Петя, ослепительный московский Арлекин. Стихотворение про «бледного принца» было написано для того, чтоб Костя понял: меж ними все кончено, Маша Миронова никогда уже не будет такой, как прежде.

Коломбина запнулась, боясь, что одного четверостишья недостаточно. Может, прочесть еще немножко, чтобы смысл стал понятнее? Там дальше было так:

Не стоять нам пред аналогом,
Не ступать на венчальный плат.
Бледный принц прискакал за мною
И позвал в Москву, на закат.

Слава Богу, что не прочла, а то всё бы испортила.

Просперо жестом велел чтице остановиться.

— Бледный Принц — это, конечно, Смерть? — спросил он.

Она поспешила кивнуть.

— Бледный Принц с зелеными глазами... — повторил дож. — Интересный образ.

Грустно покачал головой, сказал тихо:

— Что ж, Коломбина. Тебя привела сюда судьба, а судьбе не перечат. Оставайся и ничего не страшись. «Смерть — это ключ, открывающий двери к истинному счастью». Угадай, кто это сказал.

Она растерянно оглянулась на Петю — тот пожал плечами.

— Это был композитор, величайший из композиторов, — подсказал Просперо.

Никого мрачнее Баха из композиторов Коломбина не знала и неуверенно прошептала:

— Бах, да? — И пояснила, вспомнив злосчастного Гёте. — Иоганн-Себастьян, да?

— Нет, это сказал лучезарный Моцарт, создатель «Реквиема», — ответил дож и отвернулся.

— Всё, теперь ты наша, — прошелестел за спиной Петя. — Я так за тебя волновался!

Он смотрел прямо именинником. Очевидно, считал, что теперь, когда приведенная им кандидатка прошла экзамен, его статус среди «любовников» повысится.

— Что ж, — приглашающим жестом показал Просперо на стол. — Прошу садиться. Послушаем, что нам скажут духи сегодня.

Офелия опустилась на стул справа от дожа. Остальные тоже сели, положили на скатерть руки, растопылив пальцы так, чтобы мизинцы касались друг друга.

— Это спиритическая фигура, — пояснил Петя. — Она называется «магическое колесо».

Спиритические сеансы были известны и в Иркутске. Коломбина в гостях раза два вертела столы, но это больше походило на веселую игру, вроде святочного гадания: кто-то постоянно прыскал, ойкал, хихикал, а Костя, пользуясь темнотой, все норовил сжать локоть или поцеловать в щеку.

Здесь же всё было всерьез. Дож погасил свечи, осталась только подсветка жаровни, так что лица сидящих были красными снизу и черными сверху — будто безглазыми.

— Офелия, твой час настал, — глубоким, звучным голосом произнес председательствующий. — Дай знак, когда услышишь Иное.

Вот, оказывается, кто такая Офелия, поняла Коломбина. Она — самый настоящий медиум, поэтому и похожа на сомнамбулу.

Лицо белокурой нимфы было неподвижно и лишено всякого выражения, глаза закрыты, только губы чуть подрагивали, словно беззвучно нашептывали какое-то заклинание.

Внезапно Коломбина почувствовала, как по пальцам пробежали мурашки, щеки обдало холодным сквозняком. Офелия распахнула длинные ресницы. Запрокинула голову, и оказалось, что ее глаза совершенно черны от расширившихся зрачков.

— Я вижу, ты готова, — все тем же торжественным голосом проговорил дож. — Вызови к нам Моретту.

Коломбина вспомнила — так звали девушку, чью вакансию она заняла. Ту самую бедняжку, что застрелилась вместе с этим, как его, Ликантропом.

Несколько секунд Офелия оставалась без движения. Потом сказала:

— Да... Да... Я слышу ее... Она далеко, но с каждым мгновением всё ближе...

Поразительный у медиума был голос — тоненький, звонкий, совсем детский. Тем удивительнее была перемена, свершившаяся с Офелией в следующую минуту.

— Это я, Моретта. Я пришла. Что вы хотите знать? — проговорила она вдруг совсем иначе — низким контральто с придыханием.

— Это голос Моретты! — воскликнула Лорелея Рубинштейн. — Вы слышите?

Сидящие за столом зашевелились, заскрипели стульями, но Просперо нетерпеливо потрянул головой, и все снова замерли.

— Моретта, девочка моя, нашла ли ты свое счастье? — спросил он.

— Нет... Не знаю... Мне так странно... Здесь темно, я ничего не вижу. Но кто-то есть рядом со мной, кто-то касается меня руками, кто-то дышит мне в лицо...

— Это Он! Это Вечный Жених! — страстно прошептала Лорелея.

— Тише! — рявкнул на нее бухгалтер Калибан.

Голос дожа был ласков, даже вкрадчив:

— Ты еще не привыкла к Иному Миру, тебе трудно говорить. Но ты знаешь, что ты должна нам сообщить. Кто будет следующим? Кому ждать Знака?

Тишина стала такой, что было слышно, как потрескивают угли в жаровне.

Офелия молчала. Коломбина заметила, что мизинец Пети Лилейко, сидевшего справа, мелко дрожит. И сама вдруг тоже затрепетала: а что если дух этой самой Моретты назовет новую соискательницу? Но еще сильнее страха была обида. Как это будет несправедливо! Не успела попасть в клуб, еще ни в чем толком не разобралась, и нате вам.

— А... А-а-а... А-ва... Аваддон, — очень тихо выговорила Офелия.

Все обернулись на некрасивого студента, а его соседи — прозектор по имени Гораций и один из близнецов (Коломбина не запомнила, который) — непроизвольно отдернули руки. На лице Аваддона появилась растерянная улыбка, но смотрел он не на медиума, а на Просперо.

— Благодарю тебя, Моретта, — сказал дож. — Возвращайся в свое новое обиталище. Мы желаем тебе вечного счастья. Позови к нам Ликантропа.

— Учитель... — сглотнув, произнес Аваддон, но Просперо властно качнул подбородком:

— Молчи. Это ничего еще не значит. Спросим Ликантропа.

— Я уже здесь, — хрипловатым, юношеским голосом отозвалась Офелия. — Привет честной компании от молодожена.

— Я вижу, ты и там остаешься шутником, — усмехнулся дож.

— А что ж, здесь весело. Особенно как посмотришь на всех вас.

— Скажи, кто должен быть следующим, — строго приказал духу Просперо. — И без шуток.

— Да уж, этим не шутят...

Коломбина во все глаза смотрела на Офелию. Невероятно! Как могли уста этой хрупкой девочки говорить таким уверенным, естественным баритоном?

Дух Ликантропа отчетливо выговорил:

— Аваддон. Кто же еще? — И со смешком закончил. — Тут уже и брачная постель расстелена...

Аваддон вскрикнул, и этот странный, гортанный звук вывел медиума из транса. Офелия вздрогнула, захлопала ресницами, потеряла руками глаза, а когда отняла ладони, лицо уже было прежним: рассеянным, время от времени озаряемым нежной и робкой улыбкой. Да и глаза из черных стали обыкновенными — светлыми, влажными от выступивших слез.

Кто-то зажег свечи, а вскоре загорелась и люстра, так что в гостиной стало совсем светло.

— Как его настоящее имя? — спросила Коломбина, не в силах отвести взгляд от избранника (впрочем, все остальные тоже смотрели только на него).

— Никиша. Никифор Сипяга, — растерянно пробормотал Петя.

Аваддон же поднялся и посмотрел на присутствующих со странным выражением, в котором смешивались страх и превосходство.

— Вот такой карамболь, — рассмеялся он, и тут же всхлипнул, и снова рассмеялся.

— Поздравляю! — с чувством воскликнул Калибан, крепко пожимая приговоренному руку. — Тьфу, да у тебя вся ладонь в холодном поту. Сдрейфил? Эх, дуракам счастье!

— Что... Что теперь? — спросил Аваддон у дожа. — Никак не соберусь с мыслями... Голова кругом.

— Успокойся. — Просперо подошел, положил ему руку на плечо. — Известно, что духи имеют обыкновение дурачить живущих. Без Знака всё это ровным счетом ничего не значит. Жди Знака и смотри, не наделай глупостей... Всё, собрание окончено. Уходите.

Он повернулся к соискателям спиной, и те один за другим потянулись к выходу.

Потрясенная увиденным и услышанным, Коломбина проводила взглядом неестественно прямую спину Аваддона — тот вышел из салона первым.

— Идем, — взял ее за руку Петя. — Больше ничего не будет.

Вдруг раздался негромкий повелительный голос:

— Новенькая пусть останется!

Коломбина сразу забыла и про Аваддона, и про Петю. Обернулась, боясь только одного — не ослышалась ли.

Просперо, не оглядываясь, поднял руку, поманил пальцем: иди сюда.

Петя, фальшивый Арлекин, жалобно заглянул Коломбине в лицо. Увидел, как оно заливается счастливым румянцем. Потоптался на месте, вздохнул и безропотно вышел.

Еще минута — и Коломбина осталась с хозяином дома наедине.

Сброшенная куколка

"Было так. За окнами выл ветер, сгибая деревья. Грохотала железная крыша, небо озарялось зарницами. Природа неистовствовала, одолеваемая титаническими страстями.

Такие же страсти бушевали в душе Коломбины. Ее маленькое сердечко то замирало, то начинало биться часто-часто, как мотылек о стекло.

А он — он неспешно приблизился, положил ей руки на плечи и в продолжение всего мистического ритуала не произнес более ни единого слова. В речах не было нужды, этот вечер принадлежал безмолвию.

Он сжал Коломбине тонкое запястье, повлек за собой через темную анфиладу. Пленнице казалось, что, пересекая комнаты, она, подобно бабочке, проходит череду превращений.

В столовой она была еще личинкой — влажной от робости, съезженной, бессильной; в кабинете окоченела от ужаса и превратилась в слепую и бездвижную куколку; в спальне же, на разостланной медвежьей шкуре, ей суждено было обратиться пестрокрылой бабочкой.

Не существует слов, чтобы хоть сколько-то похоже описать случившееся. Глаза той, чья девственность приносилась в жертву, были широко раскрыты, но они ничего не видели — лишь скольжение теней по потолку. Что же до ощущений... Нет, не помню. Попеременное погружение то в холод, то в жар, то снова в холод — вот, пожалуй, и всё.

Наслаждения, о котором пишут во французских романах, не было. Боли тоже. Был страх сказать или сделать что-нибудь не так — вдруг он презрительно отстранится, и ритуал прервется, оставшись незавершенным? Поэтому Коломбина ничего не говорила и ничего не делала, лишь повиновалась его мягким, но удивительно властным рукам.

Знаю наверняка одно: длилось это недолго. Когда я шла обратно через гостиную — одна, свечи не догорели и до половины.

Да-да, он не церемонился с послушной марионеткой. Сначала взял ее просто и уверенно, нисколько не сомневаясь в своем праве, а после поднялся и сказал: «Уходи». Одно, всего одно слово.

Оглушенная, растерянная Коломбина услышала шорох удаляющихся шагов, негромко скрипнула дверь, и обряд посвящения закончился.

Одежда лежала на полу, и впрямь похожая на сброшенную куколку. Ах, сброшенная куколка — это совсем не то, что брошенная кукла!

Новорожденная бабочка встала, всплеснула белыми руками, будто крыльями. Покружилась на месте. Уходить так уходить.

Шла одна по бесприютному бульвару. Ветер швырял в лицо сорванные листья и мелкий сор. Ах, как ликовала, как неистово радовалась ночь тому, что ее полку прибыло, что падение из света в тьму свершилось!

Оказывается, есть и такое наслаждение — брести по пустым улицам наугад, не зная пути. Чужой, непонятный город. Чужая, непонятная жизнь.

Зато настоящая. Самая что ни на есть."

Коломбина перечла запись в дневнике. Абзац про наслаждение вычеркнула как слишком наивный. Поколебалась насчет безмолвия во время всего мистического ритуала — это было не совсем правдой. Когда, ведя добычу через кабинет, Просперо стал на ходу расстегивать пуговицы на ее лимонной блузе, несмышлениш Люцифер цапнул агрессора своими детскими клычками за палец (должно быть, взревновал), и это чуть всё не испортило. От неожиданности дож вскрикнул, потребовал на время инициации заточить рептилию в графин, а укусы, две крошечных вмятинки на коже, по меньшей мере минуты две протирал спиртом. Коломбина же в это время стояла рядом в распахнутой блузе и не знала, как ей быть — застегнуться обратно или снять блузу самой.

Нет, не стала про эту мелкую, досадную несущественность — к чему?

Потом села перед зеркалом и долго себя рассматривала. Странно, но никаких особенных перемен — зрелости или там искушенности — в лице обнаружить не удалось. Появятся, но, видимо, не так сразу.

Ясно было одно: уснуть в эту великую ночь не удастся.

Коломбина села в кресло у окна, попыталась высмотреть на пасмурном небе хоть одну, пусть самую маленькую звездочку, но не высмотрела. Даже расстроилась. А потом сказала себе: ну и правильно. Чем краше, тем лучше.

Все-таки заснула. И поняла, что спала, только когда пробудилась от громкого стука.

Уходи

Она открыла глаза, увидела через открытое окно высоко стоящее солнце, слышала звуки улицы: цокот копыт по булыжнику, крики точильщика. И тут же снова раздалось настойчивое: тук-тук-тук! тук-тук-тук!

Поняла, что позднее утро, что кто-то стучит в дверь, и, возможно, уже давно.

Однако прежде чем открыть, подошла к зеркалу, проверила, нет ли после сна вмятин и складок на лице (не было), провела гребнем по волосам, поправила халат (японского покроя, с горой Фуджиямой на спине).

В дверь всё стучали. Потом раздался приглушенный крик: «Открой! Открой, это я!»

Петя. Ну разумеется, кто же еще? Пришел устроить сцену ревности. Не нужно было вчера давать ему свой адрес. Коломбина вздохнула, пустила волосы через левое плечо на грудь, перетянула алой лентой.

Люцифер аккуратной спиралькой лежал на кровати. Наверно, кушать хочет, бедняжка.

Что ж, налила змеенышу молока в миску и только потом впустила ревнивца.

Петя ворвался в прихожую бледный, с трясущимися губами. Кинул на хозяйку вороватый (во всяком случае, так ей показалось) взгляд и тут же отвел глаза. Коломбина покачала головой, сама на себя удивляясь. Как можно было принять его за Арлекина? Он — Пьеро, самый настоящий Пьеро, да ведь его и зовут так же.

— Ну, что ты ни свет, ни заря? — сказала она сурово.

— Так за полдень уже, — пролепетал он, шмыгнув носом. Нос был мокрый, красный. Простудился, что ли? Или плакал?

Оказалось — второе. Лицо разжалованного Арлекина исказилось, нижняя губа поползла вперед и вниз, из глаз хлынули слезы. В общем, разревелся по всей форме. Заговорил сбивчиво, непонятно, но не о том, чего ждала Коломбина.

— Я к нему утром, на квартиру... Он снимает, на Басманной, дом общества «Великан»... Как у тебя, на последнем... Чтоб на лекции вместе. И волновался после вчерашнего. Я ведь его догнал вчера, проводил.

— Кого? — перебила она. — Говори ясней.

— Никишу. Ну Никифора, Аваддона. — Петя всхлипнул. — Он словно не в себе был, всё повторял: решилось, кончено, теперь только дожждаться Знака. Я ему говорю: может, Знака еще и не будет, а Никиша: нет, будет, я знаю точно. Прощай, Петушок. Больше не свидимся. Ничего, говорит, я сам этого хотел...

Тут рассказ прервался из-за нового приступа рыданий, но Коломбина уже поняла, в чем дело.

— Что, был Знак?! — ахнула она. — Знак Смерти? Выбор

подтвердился? И теперь Аваддон умрет?

— Уже, — прорыдал Петя. — Я прихожу, а там двери нараспашку. Дворник, домовладелец, полиция. Повесился!

Коломбина закусила губу, прижала к груди ладонь — так заколотилось сердце. Дальше слушала, не перебивая.

— И Просперо тоже был там. Сказал, ночью не мог уснуть, а перед самым рассветом явственно услышал зов Аваддона. Встал, оделся и поехал. Увидел, что дверь приоткрыта. Вошел, а Никифор, то есть Аваддон, в петле. Уж и остыть успел... Полиция про клуб, конечно, ничего не знает. Решила, что Просперо и я — просто знакомые удавленника... — Петя зажмурился, очевидно, вспомнив ужасную картину. — Никиша лежит на полу. На шее синяя борозда, глаза выпучены, язык весь огромный, распухший, во рту не помещается. И запах чудовищный!

Петя затрясся, кляца зубами.

— Выходит, был Знак... — прошептала Коломбина и подняла руку, чтоб перекреститься (не от набожности, конечно, а по детской привычке), да вовремя спохватилась. Пришлось сделать вид, что поправляет локон.

— Кто же это теперь скажет? — боязливо поежился Петя. — В стихотворении про Знак ничего нет.

— В каком стихотворении?

— В предсмертном. У наших так заведено. Перед тем, как обвенчаться со Смертью, непременно стихотворение сочинить, без этого нельзя. Просперо называет его «эпиталамой» и еще «мигом истины». Он дал городовому полтинник, и тот позволил списать. Я тоже себе скопировал...

— Дай! — потребовала Коломбина.

Выхватила у Пети мятый, закапанный слезами листок. Прочла сверху, крупно: «Загадка». Очевидно, название.

Но при Пете прочесть «эпиталаму» было невозможно. Он снова завсхлипывал, принялся пересказывать историю по второму разу.

Тогда Коломбина взяла его за плечи, подтолкнула к двери и сказала одно-единственное слово:

— Уходи.

Точь-в-точь как накануне ночью, уже после всего, сказал ей Просперо. Только еще для пущей эффектности пальцем указала.

Петя умоляюще посмотрел на нее, немного помялся на месте, повздыхал и побрел прочь, как побитая собачонка. Коломбина нахмурилась. Неужто она вчера выглядела так же жалко?

Изгнание плачущего Пьеро доставило ей нехорошую, но безусловную радость. У меня определенно есть задатки роковой женщины, сказала себе

Коломбина и уселась к окну читать последнее стихотворение некрасивого человека, носившего при жизни некрасивое имя Никифор Сипяга:

Загадка

Недоброй ночью, нервной ночью
Клыками клацает кровать
И выгибает выю волчью,
И страшно спать.

Спать страшно, но не спать страшнее.
Сквозь бельма белые окон
Скелеты ясеней синеют.
Их скрип, как стон.

Еще я есть на этом свете.
Я — тяжесть, трепет и тепло.
Но в доме Зверь, снаружи ветер
Стучит в стекло.

А будет так: снаружи ветер.
Урчит насытившийся Зверь,
Но только нет меня на свете.
Где я теперь?

Коломбине вдруг стало невыносимо страшно — впору за Петей бежать, просить, чтоб вернулся.

— Ой, мамочки мои, — прошептала *femme fatale*. — Какой еще Зверь?

III. Из папки «Агентурные донесения»

Его высокоблагородию подполковнику Бесикову

(В собственные руки)

Милостивый государь Виссарион Виссарионович!

После нашего последнего объяснения я не устаю корить себя за то, что не нашел в себе твердости сразу ответить Вам надлежащим образом. Я слабый человек, а Вы обладаете странным свойством подавлять мою волю. Отвратительней всего то, что, покоряясь Вам, я испытываю странное наслаждение, за что сам потом себя ненавижу. Клянусь, я вытравлю из себя это подлое, сладострастное рабство! Наедине с листом бумаги мне легче высказать всё, что я думаю по поводу Вашего возмутительного требования!

Мне кажется, что Вы злоупотребляете моим к Вам расположением и моей готовностью добровольно и совершенно бескорыстно оказывать содействие властям в искоренении смертельной язвы, разъедающей общество. Ведь я рассказывал Вам о своей семейной трагедии — о моем горячо любимом брате, который помешался на идее самоубийства. Я — идейный борец со Злом, а не какой-нибудь «сотрудник», как в Вашем ведомстве именуют платных осведомителей. И если я согласился писать Вам эти письма (не смейте называть их «донесениями!»), то вовсе не из страха быть сосланным за свои прежние политические воззрения (чем Вы мне в свое время угрожали), а единственно оттого, что осознал всю пагубность духовного нигилизма и устрасился. Вы совершенно правы: материализм и выпячивание прав личности — это не русский путь, здесь я полностью с Вами согласен и, кажется, уже достаточно продемонстрировал искренность своего прозрения. Однако Вы, кажется, вознамерились лишить меня возможности оставаться порядочным человеком! Это уж слишком.

Заявляю Вам решительно и бесповоротно: не то что настоящих имен членов кружка (впрочем, я по большей части этих имен и не знаю), но даже и принятых меж ними нелепых прозвищ сообщать Вам не стану, ибо это низко и пахнет прямым доносом.

Будьте же милосердны! Я уступил Вашим настоятельным просьбам, дал согласие отыскать тайное общество самоубийц и проникнуть в него, потому что Вы усмотрели в этом зловещем движении политическую

подоплеку, подобие средневекового арабского ордена асасинов, фанатичных убийц, которые ни в грош не ставили человеческую жизнь — ни чужую, ни собственную. Признайте, что я превосходно выполнил Ваше непростое задание, и теперь Вы получаете о «Любовниках Смерти» достоверные сведения из первых рук. И, право, довольно с Вас. Не требуйте от меня большего.

Мне стало окончательно ясно, что Дож и его последователи не имеют ни малейшего касательства к террористам, социалистам или анархистам. Более того, эти люди вовсе не интересуются политикой, а любые социальные вопросы презирают. Можете на сей счет успокоиться — никто из них не кинется с бомбой под колеса генерал-губернаторской кареты. Это извращенные и пресыщенные дети нашей упаднической эпохи — манерные, чахлые, но по-своему очень красивые.

Нет, они не бомбисты, но для общества, в особенности для юных, неокрепших умов «любовники» весьма и весьма опасны — именно этой своей бледной, дурманящей красотой. В идеологии и эстетизме смертолюбов есть несомненный соблазн и ядоносная привлекательность. Они сулят своим последователям бегство в волшебный мир, обособленный от серой и убогой повседневности — то самое, к чему инстинктивно стремятся возвышенные и чувствительные души.

И главную опасность, конечно, представляет собою сам Дож. Я Вам уже описывал эту страшную фигуру, но с каждым днем она всё более раскрывается предо мной в своем сатанинском величии. Это упырь, вампир, василиск! Истинный ловец душ, так искусно подчиняющий окружающих своей воле, что, ей-богу, даже Вам до него далеко.

Недавно у нас появилась новенькая — смешная и трогательная девочка, приехавшая откуда-то из Сибири. Наивна, экзальтирована, голова полна всякой блажи, модной среди нынешней молодежи. Если б не угодила в наш клуб, то со временем перебесилась бы, вошла в возраст и стала такой, как все. Обыкновенная история! Но Дож вмиг опутал ее своей паутиной, превратил в ходячий автомат. Это произошло на моих глазах, в считанные минуты!

Безусловно, этому безумию необходимо положить конец, но обычное арестование тут не годится. Арест только сделает из Дожа трагическую фигуру, а уж во что превратится публичный суд и представить страшно! Этот человек живописен, импозантен, красноречив. Да после его выступления на судебном процессе этикие «любовники» заведутся у нас в каждом уездном городишке.

Нет, этого монстра необходимо развенчать, растоптать, выставить в

жалком и неприглядном свете, чтобы раз и навсегда вырвать его ядовитое жало!

Да и за что, собственно, Вы могли бы его арестовать? Ведь создавать поэтические кружки законом не возбраняется. Выход один: я должен выявить в действиях Дожа corpus delicti и доказать, что этот господин осознанно и злонамеренно склоняет некрепкие души к страшному греху самоубийства. Лишь тогда, когда мне удастся раздобыть верные улики, я выдам Вам и имя, и адрес Дожа. Но не раньше, не раньше.

К счастью, меня не подозревают в двойной игре. Я намеренно строю из себя горохового шута и даже получаю род болезненного удовлетворения от нескрываяемо презрительных взглядов, которыми одаривают меня некоторые наши умники во главе с самим Мэтром. Ничего, пусть считают жалким червяком, это удобней для моих целей. Или я и есть червяк? Как Вам кажется?

Ладно, passons. Корчи моего израненного самолюбия не имеют никакой важности. Меня мучает совсем другое: после страшной смерти Аваддона у нас образовалась очередная «вакансия», и я с тоской жду, что за новый мотылек прилетит опалить крылышки на этом адском огне...

Оскорбленный, но искренне уважающий Вас

ZZ

28 августа 1900 г.

Глава вторая

I. Из газет

ЛАВР ЖЕМАЙЛО ВСТРЕЧАЕТСЯ С ВЕРХОВНЫМ ЖРЕЦОМ «ЛЮБОВНИКОВ СМЕРТИ»

Итак, свершилось! Вашему покорному слуге удалось проникнуть в святая святых глубоко законспирированного клуба самоубийц, который вновь заставил всех говорить о себе после недавней гибели 23-летнего студента М-го университета С. Описание того, как мне удалось преодолеть все хитроумные препоны и непреодолимые препятствия, дабы достичь заветной цели, могло бы стать сюжетом для захватывающего романа. Однако, связанный словом, я буду молчать и сразу оговорюсь для г. г. полицейских: *никогда и ни при каких обстоятельствах, даже под страхом тюремного заключения, Лавр Жемайло не выдаст своих помощников и информантов.*

Моя встреча с верховным жрецом зловещей секты смертепоклонников состоялась в темном и мрачном подземелье, местонахождение которого осталось для меня тайной, поскольку мой чичероне доставил меня туда с повязкой на глазах. Я ощущал запах сырой земли, несколько раз по лицу задела свисающая со свода паутина, а один раз мимо с отвратительным писком пронеслась летучая мышь. После такой прелюдии я рассчитывал увидеть какой-нибудь жуткий склеп с осклизлыми стенами, но, когда повязку сняли, меня ждало не лишенное приятности разочарование. Я находился в просторной, прекрасно обставленной комнате, напоминающей гостиную в богатом доме: хрустальная люстра, книжные полки, стулья с резными спинками, круглый стол из тех, что используют при спиритических сеансах.

Мой собеседник велел называть его «Дож». Он, разумеется, был в маске, так что виднелись только длинные белоснежные волосы, седая борода и необычайно острые, вернее даже сказать *пронизывающие* глаза. Голос у Дожа оказался звучным и красивым, а по временам чарующим. Вне всякого сомнения это человек талантливый, незаурядный.

— Я знаю вас, г-н Жемайло, как человека чести и только поэтому согласился с вами встретиться, — так начал разговор мой таинственный собеседник.

Я поклонился и еще раз пообещал, что «Любовники Смерти» могут не

опасаться нескромности или нечестной игры с моей стороны.

Наградой за обещание была пространнейшая лекция, которую Дож прочел мне с необычайным красноречием, так что я поневоле заслушался. Попробую пересказать содержание этой эксцентричной проповеди собственными словами.

Истинная отчизна человека, по утверждению почтенного Дожа, не планета Земля и не состояние, которое мы именуем «жизнью», а нечто совершенно противоположное: Смерть, Чернота, Небытие. Мы все родом из этой сумеречной страны. Там мы обретались прежде, туда вскоре и вернемся. На краткий, несущественный миг мы обречены пребывать на свету, в жизни, в бытии. Именно обречены, то есть наказаны, отторгнуты от лона Смерти.

Все без исключения живущие — отсевки, отбросы, преступники, осужденные на каждодневную муку жизни за какое-то забытое нами, но, должно быть, весьма тяжкое преступление. Одни из нас менее виновны и потому приговорены к короткому сроку. Такие возвращаются в Смерть младенцами. Другие, более виновные, осуждены на тяжкие каторжные работы продолжительностью в 70, 80, а то и 100 лет. Доживающие до глубокой старости — злодеи из злодеев, не заслужившие снисхождения. И все же рано или поздно Смерть в бесконечной милости своей прощает каждого.

Тут ваш покорный слуга, не выдержав, прервал оратора.

— Любопытное суждение. Стало быть, жизненный срок назначен нам не Богом, а Смертью?

— Пускай Богом — называйте как хотите. Только Судия, которого люди нарекли Богом — отнюдь не Господь Всемогуший, а всего лишь причетник, состоящий на службе у Смерти.

— Какой жуткий образ! — воскликнул я.

— Вовсе нет, — утешил меня Дож. — Бог суров, но Смерть милосердна. Из человеколюбия Она наделила нас инстинктом самосохранения, чтобы мы не тяготились стенами своей тюрьмы и боялись совершить из них побег. И еще Она дала нам дар забвения. Мы лишены памяти о нашей истинной родине, об утраченном Эдеме. Иначе ни один из нас не захотел бы длить муку заточения и началась бы всеобщая оргия самоубийств.

— Что ж в этом, с вашей точки зрения, дурного? Вы ведь, кажется, именно к самоубийству и призываете своих членов?

— Неразрешенное самоубийство — это побег из тюрьмы, то есть преступление, караемое новым сроком заточения. Нет, бежать из жизни

нельзя. Но можно заслужить помилование — то есть сокращение срока.

— Каким же, позвольте полюбопытствовать, образом?

— Любовью. Нужно всей душой полюбить Смерть. Манить ее к себе, звать, как драгоценную возлюбленную. И ждать, смиренно ждать ее Знака. Когда же Знак будет явлен, то умирать от собственной руки не только можно, но даже должно.

— Вы говорите про Смерть «она», «возлюбленная», однако среди ваших последователей ведь есть и женщины.

— «Смерть» по-русски слово женского рода, но это условность, грамматика. По-немецки, как известно, это слово мужского рода — *der Tod*. Для мужчины Смерть — Вечная Невеста. Для женщины — Вечный Жених.

Здесь я задал вопрос, который не давал мне покоя с самого начала этого странного диалога:

— В ваших речах звучит непоколебимая уверенность в истинности высказываемых вами суждений. Откуда вы-то всё это знаете, если Смерть лишила человека памяти о прежнем бытии, то есть, пардон, Небытии?

Дожд с торжественным видом ответил:

— Есть люди — редкие особи — у кого Смерть решила отобрать дар забвения, так что они способны презирать взглядом оба мира: Бытия и Небытия. Я — один из этих людей. Ведь тюремному начальству нужно иметь в камере старосту из числа заключенных. Долг старосты — приглядывать за своими подопечными, наставлять их и рекомендовать Начальнику тех, кто заслуживает снисхождения. И всё, больше никаких вопросов. Мне больше нечего вам сказать.

— Только один, самый последний! — вскричал я. — Много ли подопечных в вашей «камере»?

— Двенадцать. Я знаю из газет, что желающих примкнуть к нам во много раз больше, но наш клуб открывает двери лишь для избранных. Ведь стать любовником или любовницей Смерти — это драгоценный жребий, наивысшая награда для живущего...

Мне сзади закрыли глаза повязкой и потянули к выходу. Беседа с Дожем, верховным жрецом касты самоубийц, завершилась.

Я погрузился в темноту и поневоле затрепетал, вообразив, что навек опускаюсь в столь дорогую «любовникам» Черноту.

Нет уж, господа, мысленно сказал я, вновь оказавшись под синим небом и ярким солнцем, пускай я осужденный преступник, но «снисхождения» мне не нужно — предпочитаю отбыть свой «срок» до конца.

А что предпочтете Вы, мой читатель?

Лавр Жемайло

«Московский курьер» 29 августа (11 сентября) 1900 г.

2-ая страница

II. Из дневника Коломбины

Ее туфельки почти не касаются земли

"Бедная Коломбина, безмозглая кукла, повисла в воздухе. Ее атласные туфельки почти не касаются земли, а ловкий кукловод знай тянет за тоненькие ниточки, и марионетка то всплеснет ручками, то согнется в поклоне; то заплачет, то рассмеется.

Я теперь всё время размышляю об одном и том же: что означали сказанные им слова; каким тоном он их произнес; как он на меня посмотрел; отчего он на меня вовсе не смотрел. О, как полна моя жизнь сильными чувствами и впечатлениями!

К примеру, вчера он обронил: «У тебя глаза жестокого ребенка». Я потом долго думала, хорошо это или плохо — жестокий ребенок. Вероятно, с его точки зрения хорошо. Или плохо?

Я читала, что старые мужчины (а он очень старый, он знал Каракозова, которого повесили целых тридцать пять лет назад) испытывают жгучее сладострастие к молоденьким девушкам. Но он вовсе не сладострастен. Он холоден и равнодушен. После того первого, грозowego слияния, когда за окнами выгибались атакованные ураганом деревья, он велел остаться мне всего однажды. Это было позавчера.

Без слов, одними жестами он приказал скинуть одежду, лечь на медвежью шкуру и не шевелиться. Накрыл мое лицо белой венецианской маской — мертвой, застывшей личиной. Через узкие прорези мне было видно только светлеющий в полумраке потолок.

Я лежала так долго, без движения. Было очень тихо, только едва слышно потрескивал пламень свечей. Я думала: он смотрит на меня, беззащитную, лишенную всех покровов и даже лица. Это не я, это безымянная женская плоть, просто гуттаперчевая кукла.

Что я испытывала?

Любопытство. Да, любопытство и сладкое замирание неизвестности. Что он сделает? Каким будет первое прикосновение? Прильнет поцелуем? Или ударит кнутом? Обожжет горячими каплями свечного воска? Я бы приняла от него всё, что угодно, но время шло, а ничего не происходило.

Мне стало холодно, кожа покрылась мурашками. Я жалобно произнесла: «Где же вы? Я замерзла». Ни звука в ответ. Тогда я сдернула

маску и села.

В спальне никого не было, и это открытие повергло меня в трепет. Он исчез!

От этого необъяснимого исчезновения мое сердце забилося сильнее, чем от любых, даже самых пылких объятий.

Я долго думала о том, что может означать эта выходка. Целую ночь и целый день терзалась в поисках ответа. Что он хотел мне сказать? Какие чувства ко мне он испытывает? Несомненно, это страсть. Только не жаркая, а ледяная, как полярное солнце. Но оттого не менее обжигающая.

Пишу в дневник только теперь, потому что внезапно поняла смысл свершившегося. В первый раз он овладел всего лишь моим телом. Во второй раз он овладел моей душой. Инициация завершилась.

Теперь я его вещь. Его собственность, вроде брелка или перчатки. Как Офелия.

Меж ними ничего нет, в этом я уверена. То есть, девочка, конечно, в него влюблена, но ему она нужна только как медиум. Не представляю мужчину, который вспылал бы страстью к этой сомнамбуле. На ее прозрачном личике вечно блуждает странная невинная улыбка, глаза смотрят ласково, но отстраненно. Она почти не раскрывает рта — разве что во время сеансов. Но уж зато в минуты общения с Иным Миром Офелия совершенно преображается. Кажется, что где-то внутри ее хрупкого тельца загорается яркая лампа. Пьеро говорит, что она, в сущности, полупомешанная, что ее следовало бы поместить в лечебницу, что она живет будто во сне. Не знаю. Мне так наоборот кажется, что она оживает и становится собой только во время медиумирования.

У меня и самой теперь путаница со сном и явью. Сон — это позднее утреннее вставание, завтрак, необходимые покупки. Явь же начинается ближе к вечеру, когда я пытаюсь сочинять стихи и готовлюсь к выходу. Но окончательно я просыпаюсь лишь в девятом часу, когда быстро иду по освещенной фонарями Рождественке к бульвару. Мир несет меня на упругих волнах, кровь пульсирует в жилах. Я стучу каблучками так быстро, так целеустремленно, что прохожие оглядываются мне вслед.

Вечер — это кульминация и апофеоз дня. Потом, уже за полночь, я возвращаюсь к себе и искусственно продлеваю волшебство, подробно записывая всё, что произошло, в сафьяновую тетрадь.

Сегодня произошло многое.

С самого начала он вел себя совсем не так, как обычно.

Нет, так писать нельзя — всё «он» да «он». Я ведь пишу не для себя, а для искусства.

Просперо был не такой, как всегда — оживленный, даже взволнованный. Едва выйдя к нам в гостиную, стал рассказывать:

"Нынче ко мне на улице подошел человек. Красивый, элегантно одетый, очень уверенный. Немного заикаясь, произнес странные слова:

— Я умею читать по лицам. Вы — тот, кто мне нужен. Вас посылает мне судьба.

— А я по вашему лицу не вижу ничего, — неприязненно ответил я, так как терпеть не могу бесцеремонности. — Боюсь, сударь, вы обознались. Меня никто никуда послать не может. Даже судьба.

— Что это у вас? — спросил он, не обращая внимания на резкость тона, и показал на карман моего пальто. — Что там оттопыривается? Револьвер? Дайте.

Вы знаете, что я никогда не выхожу из дому без моего «бульдога». Поведение незнакомца начинало занимать меня. Без лишних слов я вынул оружие и протянул ему — посмотреть, что будет".

Тут Лорелея вскричала:

— Но это же явный сумасшедший! Он мог застрелить вас! Как вы безрассудны!

— Я привык доверять Смерти, — пожал плечами Просперо. — Она мудрее и добрее нас. Да и потом скажите, милая Львица, разве я оказался бы в проигрыше, если б неведомый безумец всадил мне пулю в лоб? Это был бы изящный финал... Однако слушайте дальше.

И он продолжил рассказ:

"Незнакомец раскрыл револьвер и высыпал на ладонь четыре пули, а пятую оставил. Я с любопытством наблюдал за его действиями.

Он с силой крутанул барабан, затем вдруг приставил дуло к виску и спустил курок. Боек звонко щелкнул о пустое гнездо, а на лице у поразительного господина не дрогнул ни один мускул.

— Теперь вы будете говорить со мной серьезно? — спросил он.

Я молчал, несколько ошарашенный этим спектаклем. Тогда он снова покрутил барабан и опять приставил оружие к виску. Я хотел остановить его, но не успел — вновь щелкнул спуск. Ему опять повезло!

— Довольно! — воскликнул я. — Чего вы хотите?

Он сказал:

— Хочу быть с вами. Ведь вы тот, за кого я вас принимаю?

Оказалось, он давно уже разыскивает «Любовников Смерти», чтобы стать одним из них. Разумеется, он не угадал, кто я, по моему лицу — это было сказано для эффектности, чтобы произвести на меня впечатление. На самом же деле он провел хитроумное расследование, которое вывело его на

меня. Каково, а? Это интереснейший субъект, я в людях толк знаю. Он и стихи слагает, в японском стиле. Вы услышите — это ни на что не похоже. Я велел ему придти сегодня. Ведь место Аваддона еще свободно".

Я позавидовала неизвестному господину, который сумел так впечатлить нашего бесстрастного дожа, однако же слушала рассказ не очень внимательно — меня волновало совсем другое. Я намеревалась прочесть новое стихотворение, над которым просидела всю минувшую ночь. Надеюсь, что у меня, наконец, получилось, как должно, и Просперо оценит этот крик души менее сурово, чем мои предыдущие опыты, которые... Ладно, об этом я уже писала не раз, поэтому повторяться не буду.

Когда настал мой черед, я прочла:

Вы забудете, не так ли,
Куклу с синими глазами
И кудряшками из пакли,
Околдованную вами?

Безразлично вам, ведь верно,
Что с экстазом страстотерпца
Обожало вас безмерно
Целлулоидное сердце?

Помолиться, что ли, Богу?
Только нет у кукол храма.
И бывшая недотрога
Тихо плачет: ма-ма, ма-ма!

Там была еще одна строфа, которая мне особенно нравилась (я даже уронила над ней несколько слезинок) — про то, что у куклы не бывает бога кроме кукловода. Но безжалостный Просперо махнул рукой, чтоб я остановилась, и поморщившись обронил:

— Манная кашка.

Его совсем не занимают мои стихи!

Дальше стал читать Гдлевский, которого Просперо вечно расхваливает сверх всякой меры, и я потихоньку вышла. Встала в прихожей перед зеркалом и заплакала. Верней, завывала. «Манная кашка!»

В прихожей было темно, и в зеркале я видела только свой сторбленный

силуэт с дурацким бантом, который совсем съехал набок. Господи, какой же я себя чувствовала несчастной! Помню, подумалось: вот бы духи сегодня вызвали меня. Я бы с наслаждением ушла от всех вас к Вечному Жениху. Да надежды было немного. Во-первых, духи в последнее время либо не появлялись вовсе, либо несли какую-то невнятицу. А во-вторых, с какой стати Смерть выберет в возлюбленные такую никчемную, бездарную мокрицу?

Потом раздался звонок. Я наскоро поправила бант, вытерла глаза и пошла открывать.

Меня ждал сюрприз.

На пороге стоял тот самый господин, которого я видела, когда относилА Аваддону незабудки".

Явление принца Гэндзи

В тот день, когда в квартирку, расположенную под самой крышей, явился заплаканный Петя-Керубино и напугал хозяйку сначала известием о смерти Аваддона, а затем прощальным стихотворением Избранника, Коломбина долго сидела в кресле, снова и снова перечитывая загадочные строки.

Поплакала, конечно. Аваддона, хоть он и Избранник, было жалко. Но потом плакать перестала, потому что зачем же плакать, если человек обрел то, к чему стремился. Свершилась его свадьба с Вечной Суженой. В подобных случаях следует не рыдать, а радоваться.

И Коломбина отправилась на квартиру к новобрачному с поздравлениями. Надела свое самое нарядное платье (белое, воздушное, с двумя серебряными молниями, вышитыми по корсажу), купила букетик нежных незабудок и поехала на Басманную улицу. Люцифера взяла с собой, но не на шее, в виде ожерелья (черный цвет в такой день был бы неуместен), а в сумочке — чтоб не скучал дома один.

Дом общества «Великан» — новый, каменный, в пять этажей — она нашла без труда. Собиралась просто положить цветы к порогу квартиры, но дверь оказалась неопечатанной и, более того, приоткрытой. Изнутри доносились приглушенные голоса. Если кому-то другому можно, то почему мне нельзя, рассудила поздравительница и вошла.

Квартира была маленькая, не больше, чем китайгородская, но на удивление опрятная и отнюдь не нищенская, как следовало бы ожидать по потрепанной одежде покойного Аваддона.

В прихожей Коломбина остановилась, пытаясь угадать, где находится комната, в которой жених встретил свою Невесту.

Слева, кажется, располагалась кухня. Оттуда донесся мужской голос, произнесший с легким заиканием:

— А это что за д-дверь? Черный ход?

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил другой голос — сиплый и подобострастный. — Только господин студент не пользовался. Черный ход, он для прислуги, а они сами обходились. Потому гол был как сокол, извиняюсь за выражение.

Что-то стукнуло, лязгнул металл.

— Стало быть, не пользовался? А почему п-петли смазаны? И весьма старательно.

— Не могу знать. Надо думать, смазал кто-то.

Заика со вздохом молвил:

— Резонное предположение. — И в диалоге наступила пауза.

Должно быть, следователь из полиции, догадалась Коломбина и от греха попятилась к выходу — еще пристанет с расспросами: кто такая, да почему, да в каком смысле незабудки. Но ретироваться не успела, из коридорчика вышли трое.

Впереди, то и дело оглядываясь, семенил бородатый дворник в фартуке и с бляхой на груди. За ним, постукивая по полу тросточкой, неспешно вышагивал высокий, сухощавый господин в прекрасно сшитом сюртуке, белейшей сорочке с безупречными воротничками, да еще и в цилиндре — ни дать ни взять граф Монте-Кристо, вот и дворник его назвал «сиятельством». Сходство с бывшим узником замка Иф усугублялось благодаря холеной, бледной физиономии (надо сказать, весьма эффектной) и романтическим черным усикам. Да и возраст у щеголя был примерно такой же, как у парижского миллионщика — из-под цилиндра виднелись седые виски.

Замыкал шествие низенький, плотно сбитый азиат в костюме-тройке и котелке, надвинутом чуть не на самые глаза. Вернее не глаза, а глазенки — из-под черного фетра на Коломбину уставились две узенькие щелки.

Дворник замахал на барышню руками, будто прогонял кошку:

— Нельзя сюда, нельзя! Подите!

Однако Монте-Кристо, окинув нарядную девицу внимательным взглядом, обронил:

— Ничего, пускай. Держи-ка еще.

Протянул бородатому бумажку, тот весь изогнулся от восторга и назвал благодетеля уже не «сиятельством», а «светлостью», из чего можно было

заклЮчить, что красивый заика, должно быть, все-таки не граф и уж во всяком случае не полицейский. Где это видано, чтоб полицейские дворникам рублевики кидали? Тоже из любопытствующих, решила Коломбина. Должно быть, начитался в газетах про «Любовников Смерти», вот и пришел поглазеть на жилище очередного самоубийцы.

Красавчик приподнял цилиндр (причем обнаружилось, что седые у него только виски, а прочая куафюра еще вполне черна), но представляться не стал, а осведомился:

— Вы — знакомая господина Сипяги?

Коломбина не удостоила графа Монте-Кристо не то что ответом, но даже взором. Вернулось взволнованное, торжественное настроение, не располагавшее к праздным разговорам.

Тогда настырный брюнет, понизив голос, спросил:

— Вы, верно, из «Любовников Смерти»?

— С чего вы взяли? — вздрогнула она и тут уж на него взглянула — с испугом.

— Ну как же. — Он уперся тростью в пол и принялся загибать пальцы затянутой в серую перчатку руки. — Вошли без звонка или стука. Стало быть, пришли к з-знакомому. Это раз. Видите здесь посторонних, но о хозяине не спрашиваете. Стало быть, уже знаете о его печальной участи. Это два. Что не помешало вам прийти сюда в экстравагантном платье и с легкомысленными цветами. Это три. У кого самоубийство может считаться поводом для поздравлений? Разве что у «Любовников Смерти». Это четыре.

В разговор вмешался азиат, изъяснявшийся по-русски довольно бойко, но с чудовищным акцентом.

— Не торько у рюбовников, — живо возразил он. — Когда брагородные самураи княдзя Асано поручири от сегуна разресение дерать харакири, все тодзе их поздравляри.

— Маса, историю про сорок семь верных вассалов мы обсудим как-нибудь после, — оборвал коротышку Монте-Кристо. — А сейчас, как видишь, я беседую с дамой.

— Может быть, вы и беседуете с дамой, — отрезала Коломбина. — Да только дама с вами не беседует.

«Сиятельство» обескураженно развело руками, а она повернула в дверь, что вела направо.

Там находились две комнатки — проходная, где из мебели имелся только дешевенький письменный стол со стулом, и спальня. В глаза бросился шведский диван, из новомодных, с раскрывающимся брюхом,

однако весь облезлый и кривой. Верх не сходиллся с низом, и казалось, что диван ощерился темной пастью.

Коломбине вспомнилась строчка из последнего стихотворения Аваддона, и она пробормотала:

— «Клыками клацает кровать».

— Что это? — раздался сзади голос Монте-Кристо. — Стихи?

Не оборачиваясь, она вполголоса прочла все четверостишие:

Недоброй ночью, нервной ночью
Клыками клацает кровать
И выгибает выю волчью,
И страшно спать.

В изгибе диванной спинки и в самом деле было что-то волчье.

Стекло дрогнуло (как и накануне вечером, было ветрено), Коломбина зябко поежилась и произнесла заключительные строки стихотворения:

...Но в доме Зверь, снаружи ветер
Стучит в стекло.

А будет так: снаружи ветер,
Урчит насытившийся Зверь,
Но только нет меня на свете.
Где я теперь?

И вздохнула. Где ты теперь, избранник Аваддон? Счастлив ли ты в Ином Мире?

— Это предсмертное с-стихотворение Никифора Сипяги? — не столько спросил, сколько констатировал догадливый заика. — Интересно. Очень интересно.

Дворник сообщил:

— А зверь-то и вправду выл. Жилец из-за стенки сказывали. Тут, ваше превосходительство, стеночки хлипкие, одно название. Когда полицейские ушли, этот самый застенный жилец ко мне спускался, любопытствовать. Ну и рассказал: ночью, грит, как начал кто-то завывать — жутко так, с перекатами. Будто зовет или грозит. И так до самого рассвета. Он и в стенку колотил — спать не мог. Думал, господин Сипяга пса завели. Только

никакого пса тут не было.

— Интересная к-квартирка, — задумчиво произнес брюнет. — Вот и мне какой-то звук слышится. Только не завывание, а скорее шипение. И доносится сей интригующий звук из вашей сумочки, мадемуазель.

Он обернулся к Коломбине и посмотрел на нее своими голубыми глазами, по которым трудно было понять, какие они — грустные или веселые.

Ничего, сейчас станут испуганными, злорадно подумала Коломбина.

— Неужто из моей сумочки? — деланно удивилась она. — А я ничего не слышу. Ну-ка, посмотрим.

Она нарочно подняла ридикюль, чтоб оказался под самым носом у самоуверенного незнакомца, щелкнула замочком.

Люцифер, умница, не подвел. Высунул узкую головку, будто чертик из механической шкатулки, разинул пасть и как зашипит! Видно, соскучился в темноте да тесноте.

— Матушка Пресвятая Богородица! — завопил дворник, стукнувшись затылком о косяк. — Змей! Черный! Вроде не пил нынче ни капли!

А красавец — такая жалость — нисколько не напугался. Склонил голову набок, разглядывая змейку. Одобрительно сказал:

— Славный ужик. Любите животных, мадемуазель? Похвально.

И, как ни в чем не бывало, повернулся к дворнику.

— Так, говорите, неведомый зверь выл до самого рассвета? Это самое интересное. Как соседа зовут? Ну, к-который за стеной живет. Чем занимается?

— Стахович. Художник. — Дворник опасливо поглядывал на Люцифера, потирая ушибленный затылок. — Барышня, а он у вас взаправдошный? Не цапнет?

— Почему не цапнет? — надменно ответила Коломбина. — Еще как цапнет. — А графу Монте-Кристо сказала. — Сами вы ужик. Это египетская кобра.

— Ко-обра, так-так, — рассеянно протянул тот, не слушая.

Остановился у стены, где на двух гвоздях была развешана одежда — очевидно, весь гардероб Аваддона: латаная шинелишка и потертый, явно с чужого плеча студенческий мундир.

— Так г-господин Сипяга был очень беден?

— Как мыша церковная. Копейки на чай не дожدهшься, не то что от вашей милости.

— А между тем квартира недурна. Поди, рублей тридцать в месяц?

— Двадцать пять. Только не они снимали, где им. Оплачивал господин

Благовольский, Сергей Иринархович.

— Кто таков?

— Не могу знать. Так в расчетной книге прописано.

Прислушиваясь к этому разговору, Коломбина вертела головой по сторонам — пыталась угадать, где именно состоялось венчание со Смертью. И в конце концов нашла, с карнизного крюка свисал хвост обрезанной веревки.

На грубый кусок железа и растрепанный кусок пеньки смотрела с благоговением. Боже, как жалки, как непрезентабельны врата, через которые душа вырывается из ада жизни в рай Смерти!

Будь счастлив, Аваддон! — мысленно произнесла она и положила букет вниз, на плитус.

Подошел азиат, неодобрительно поцокал языком:

— Горубенькие цветотьки нерзья. Горубенькие — это когда утопирся. А когда повесирся, надо ромаськи.

— Тебе, Маса, следовало бы прочесть «Любовникам Смерти» лекцию о чествовании самоубийц, — с серьезным видом заметил Монте-Кристо. — Вот скажи, какого цвета должен быть букет, когда кто-то, к примеру, застрелился?

— Красный, — столь же серьезно ответил Маса. — Розотьки ири маки.

— А при самоотравлении?

Азиат не задумался ни на секунду:

— Дзёртые хридзантемы. Есри нет хридзантем, модзьно рютики.

— Ну, а если взрезан живот?

— Берые цветотьки, потому сьто берый цвет — самый брагородный.

И узкоглазый молитвенно сложил короткопалые ладошки, а его приятель одобрительно кивнул.

— Два клоуна, — с презрением бросила Коломбина, последний раз взглянула на крюк и направилась к выходу.

Кто бы мог подумать, что франт из Аваддоновой квартиры встретится ей вновь, да еще не где-нибудь, а в доме Просперо!

* * *

Он выглядел почти так же, как во время предыдущей встречи: элегантный, с тросточкой, только сюртук и цилиндр не черные, а пепельно-серые.

— Здравствуйте, с-сударыня, — сказал он со своим характерным

легким заиканием. — Я к господину Благовольскому.

— К кому? Здесь таких нет.

Лица Коломбины он в полумраке разглядеть не мог, а вот она сразу его узнала — под козырьком крыльца горел газовый светильник. Узнала и ужасно удивилась. Ошибся адресом? Однако какое странное совпадение!

— Ах да, прошу извинить, — шутливо поклонился случайный знакомец. — Я хотел сказать: к господину Просперо. В самом деле, я ведь строжайше предупрежден, что здесь не принято называться собственным именем. Вы, верно, тоже какая-нибудь Земфира или Мальвина?

— Я Коломбина, — сухо ответила она. — А вы-то кто?

Он вошел в прихожую и теперь смог разглядеть ту, что открыла ему дверь. Узнал, но не выказал ни малейшего удивления.

— Здравствуйте, таинственная незнакомка. Как говорится, гора с горой не сходится. — Погладил по головке дремлющего на девичьей шее Люцифера. — Привет, малыш. Позвольте представиться, мадемуазель Коломбина. Мы с господином Благо... то есть с господином Просперо условились, что здесь я б-буду зваться Гэндзи.

— Гэндзи? Какое странное имя!

Она все не могла уразуметь, что означает это загадочное появление. Что зайке было нужно в квартире самоубийцы? И что ему нужно здесь?

— Был в стародавние времена такой японский принц. Искатель острых ощущений, вроде меня.

Необычное имя ей, пожалуй, понравилось — Гэндзи. Жапонизм — это так изысканно. Стало быть, не «сиятельство» и даже не «светлость», поднимай выше — «высочество». Коломбина саркастически хмыкнула, однако следовало признать: франт и в самом деле был удивительно похож на принца, ну если не японского, то европейского, как у Стивенсона.

— Ваш спутник был японец? — вдруг осенило ее. — Тот, которого я видела на Басманной. Вот почему он всё говорил про самураев и взрезывание живота?

— Да, это мой камердинер и ближайший д-друг. Кстати, напрасно вы тогда обозвали нас клоунами. — Гэндзи укоризненно покачал головой. — Маса к институту самоубийства относится с огромным почтением. Как, впрочем, и я. Иначе я бы здесь не оказался, верно?

Искренность последнего утверждения представлялась сомнительной — больно уж легкомысленным тоном оно было сделано.

— Непохоже, чтобы вы так уж рвались покинуть этот мир, — недоверчиво произнесла Коломбина, глядя в спокойные глаза гостя.

— Уверяю вас, мадемуазель Коломбина, я человек отчаянный и

способен на чрезвычайные и даже немыслимые п-поступки.

И опять это было сказано так, что не поймешь, серьезно человек говорит или насмешничает. Но здесь она вдруг вспомнила рассказ дожа про «интереснейшего субъекта», и неожиданное явление «принца» сразу разъяснилось.

— Вы, верно, и есть тот самый гость, о котором говорил Просперо? — воскликнула Коломбина. — Вы сочиняете японские стихи, да?

Он молча поклонился, как бы говоря: не отпираюсь, он самый и есть. Теперь она взглянула на франта по-новому. Тон его и в самом деле был легким, в углах губ угадывалась полуулыбка, но глаза смотрели серьезно. Во всяком случае, на досужего шутника Гэндзи никак не походил. Коломбина наконец нашла для него подходящее определение: «необычный экземпляр». Ни на одного из соискателей не похож. Да и вообще, таких типажей ей прежде видеть не приходилось.

— Пришли, так идемте, — сухо сказала она, чтоб он слишком много о себе не понимал. — Вам еще предстоит пройти испытание.

Вошли в салон, когда Гдлевский заканчивал декламацию и готовился выступить Розенкранц.

Различать близнецов оказалось совсем нетрудно. Гильденстерн объяснялся по-русски совсем чисто (он закончил русскую гимназию) и был заметно жизнерадостней характером. Розенкранц же все писал что-то в пухлом блокноте и часто вздыхал. Коломбина частенько ловила на себе его скорбный остзейский взгляд и, хоть в ответ смотрела непреклонно, всё равно это молчаливое обожание было ей приятно. Жаль только, что стихи немчика были так чудовищны.

Вот и сейчас он встал в торжественную позу: ступни в третьей позиции, пальцы правой руки растопырены веером, глаза устремлены на Коломбину.

Безжалостный дож оборвал его после первой же строфы:

— Благодарю, Розенкранц. «Вздыхать и плакать чистою слезой» по-русски сказать нельзя, но сегодня у тебя получилось уже лучше. Господа! Вот кандидат на место Аваддона, — представил он новенького, который остановился в дверях и с любопытством оглядывал гостиную и собравшихся.

Все обернулись к кандидату, он слегка поклонился.

— У нас принято устраивать нечто вроде поэтического экзамена, — сказал ему дож. — Мне довольно услышать несколько строчек из стихотворения, написанного претендентом, и я сразу могу сказать, по пути ему с нами или нет. Вы сочиняете необычные для нашей словесности

стихи, лишенные рифмы и ритмичности, поэтому будет справедливо, если я попрошу вас сложить экспромт — на заданную мной тему.

— Извольте, — ответил Гэндзи, нисколько не смутившись. — Какую тему вам угодно предложить?

Коломбина отметила, что Просперо обратился к нему на «вы», что само по себе было необычно. Очевидно, не повернулся язык называть этого внушительного господина на «ты».

Председательствующий долго молчал. Все, затаив дыхание, ждали, зная: сейчас он огорошит самоуверенного новичка каким-нибудь парадоксом или неожиданным сюрпризом.

Так и вышло.

Отбросив кружевной манжет (сегодня дож был одет испанским грандом, и этот наряд весьма шел к его бороде и длинным волосам), Просперо взял из вазы красное яблоко и с хрустом впился в него крепкими зубами. Пожевал, проглотил, взглянул на Гэндзи.

— Вот вам и тема.

Все переглянулись. Что за тема такая?

Петя шепнул Коломбине:

— Это он нарочно. Сейчас срежет, вот увидишь.

— Надкушенное яблоко или вообще яблоко? — уточнил задачу испытуемый.

— А это уж решать вам.

Просперо удовлетворенно улыбнулся и сел на свой трон.

Пожав плечами, словно речь шла о сущей безделице, Гэндзи произнес:

Яблоко прекрасно
Не на ветке и не в желудке,
А в миг паденья.

Все подождали, не будет ли продолжения. Не дождались. Тогда Сирано покачал головой, Критон довольно громко хихикнул, зато Гдлевский одобрительно покивал, а Львица Экстаза даже вскричала: «Браво!».

Коломбина, уже приготовившаяся насмешливо скривиться, приняла задумчивый вид. Раз двое корифеев что-то усмотрели в диковинном сочинении принца Гэндзи, значит, оно небезнадежно. Но главное слово, разумеется, оставалось за дожем.

Просперо подошел к Гэндзи и крепко пожал ему руку:

— Я не ошибся в вас. Именно так: суть не в скучном бытии и не в

посмертном гниении, а в катарсисе превращения первого во второе. Именно так! И как коротко, ни одного лишнего слова! Ей-богу, у японцев стоит поучиться.

Коломбина покосилась на Петю. Тот пожал плечами — видно, тоже, как и она, не нашел в изреченном афоризме ничего особенного.

Новый соискатель прошелся по салону и удивленно произнес:

— Я был уверен, что интервью с верховным жрецом клуба самоубийц, напечатанное в «Курьере», — глупая мистификация. Однако обстановка комнаты описана точно, да и достопочтенный дож, похоже, списан с натуры. Неужто такое возможно? Вы встречались с корреспондентом, господин Просперо? Но зачем?

Наступило неловкое молчание, ибо Гэндзи, сам того не зная, затронул весьма болезненную тему. Злосчастная статья, довольно точно изложившая взгляды Просперо и даже напрямую процитировавшая некоторые его излюбленные максимы, вызвала в клубе настоящую бурю. Дождь устроил каждому форменный допрос, допытываясь, не откровенничал ли кто-то с посторонними, но информанта так и не установил.

— Ни с каким корреспондентом я не говорил! — сердито сказал Просперо и жестом обвел соискателей. — Иуда здесь, среди моих учеников! Из тщеславия, а то и за несколько серебряников кто-то из них выставил меня и все наше общество на посмешище толпы! Гэндзи, честно говоря, у меня на вас особые виды. Вы впечатлили меня своими недюжинными аналитическими способностями. Располагая всего несколькими разрозненными крупными сведениями, вы безошибочно вышли на след «Любовников Смерти» и определили, что именно я являюсь предводителем клуба. Так может быть, вы поможете мне обнаружить паршивую овцу, проникшую в мое стадо?

— Полагаю, сделать это будет нетрудно. — Гэндзи скользнул взглядом по лицам притихших «любовников». — Но сначала мне нужно узнать этих дам и господ чуть лучше.

Эти слова, прозвучавшие довольно угрожающе, всем ужасно не понравились.

— Только торопитесь, — усмехнулся Критон. — Знакомство может оказаться непродолжительным, потому что все мы стоим на краю разверстой могилы.

Сирано наморщил свой монументальный нос, ехидно продекламировал:

Тайный розыск учинить,

Татя враз изобличить
И послать его на плаху
В назиданье и для страху.

Даже чопорный Гораций, певец прозекторского искусства, не столь часто размыкающий уста, возмущился:

— Не хватало у нас здесь еще сыска и доносительства!

Коломбине сделалось страшно. Это был настоящий бунт. Ну, сейчас смутьяны получат! Сейчас Просперо обрушит на ослушников испепеляющий разряд своего гнева.

Но дож не стал метать молнии или размахивать руками. Лицо его опечалилось, голова опустилась на грудь.

— Я знаю, — тихо молвил Просперо. — И всегда это знал. Один из вас предаст меня.

С этими словами он встал и, более ни слова не говоря, скрылся за дверью.

— Учитель! Пока я здесь, вам нечего опасаться! — бешено взревел Калибан и глянул на стоявшего поблизости Критона с такой ненавистью, что козлоногий проповедник страстной любви в ужасе шарахнулся в сторону.

У Коломбины сердце разрывалось от сострадания. Если б она посмела, то бросилась бы следом за Просперо. Пусть знает, что уж она-то никогда его не предаст!

Но дверь непреклонно хлопнула. Коломбина знала, очень хорошо знала, что там, за ней: полупустая столовая, потом просторный, уставленный массивной мебелью кабинет, а еще дальше — спальня, так часто снявшаяся ей по ночам. Из кабинета можно попасть прямо в коридор и выйти в прихожую. Именно этой бесславной дорогой Коломбина уже дважды покидала заветный чертог, раздавленная и недоумевающая...

— Зеанс не будет? — разочарованно захлопал белесыми ресницами Розенкранц. — Но тош говорил, зегодня идеальный вечер для разговора с тушами умерших. Звездная ночь, толстая луна. Шалко упускать такой шанс!

— А что скажете вы, милая? — ласково, словно к малому ребенку, обратилась Львица Экстаза к Офелии. — В самом деле, мы столько ждали полнолуния! Что вы ощущаете? Удастся ли вам нынче установить контакт с Иным Миром?

Офелия растерянно улынулась, пролепетала своим тоненьким

голоском:

— Да, сегодня особенная ночь, я это чувствую. Но одна я не смогу, кто-то должен меня вести. Нужен спокойный, уверенный взгляд, который не дал бы мне заблудиться в тумане. Такие глаза только у Просперо. Нет, господа, без него никак нельзя.

— Стало быть, расходимся? — спросил Гильденстерн. — Глупо. Только время зря потрачено. Лучше бы к занятиям готовился. Экзамены скоро.

Кое-кто уже двинулся к выходу, но тут новенький подошел к Офелии, взял ее за руку, посмотрел в упор и тихо сказал:

— Ну-ка, милая б-барышня, посмотрите в мои глаза. Вот так. Хорошо. Вы можете мне верить.

Одному Богу известно, что такого увидела Офелия в его глазах, только она вдруг успокоилась, чистый лобик разгладился, улыбка была уже не растерянной, а умиротворенной.

— Да, — кивнула она. — Я вам верю. Мы можем попробовать.

Коломбина чуть не задохнулась от возмущения. Спиритический сеанс без Просперо? Немыслимо! Кем себя воображает этот лощеный господин? Самозванец, выскочка, узурпатор! Да это будет еще худшим предательством по отношению к дожу, чем неосторожная болтовня с газетным репортером!

Однако остальные, похоже, не разделяли ее негодования — скорее, были заинтригованы. Даже Калибан, преданный клевет дожа, чуть ли не подобострастно спросил принца Гэндзи:

— Вы уверены, что у вас выйдет? Вы сможете вызвать духов? И они назовут следующего избранника?

Тот пожал плечами:

— Ну, разумеется, выйдет. Явятся как миленькие. А что они нам сообщат, мы скоро узнаем.

Он преспокойно уселся на трон председательствующего, и все тоже поспешили занять свои места, растопырили пальцы.

— Что же ты? — обернулся Петя к возмущенной Коломбине. — Садись. Из-за тебя звена не хватает.

И она села. Трудно в одиночку противостоять всем. Ну и любопытно, конечно, тоже было — неужто в самом деле получится?

Гэндзи трижды быстро хлопнул в ладоши, и сразу стало очень тихо.

— Смотрите только на меня, мадемуазель, — велел он Офелии. — Вы должны отключить четыре органа чувств и оставить только слух. Вслушивайтесь в т-тишину. А вы, господа, не мешайте медиуму

посторонними звуками.

Коломбина смотрела на него и только диву давалась. Как быстро этот человек, едва появившись в клубе, подчинил себе остальных! Никто даже не пытался оспаривать его лидерство, а ведь он ничего особенного не сделал, да и слов произнес совсем немного. И недавней гимназистке вспомнилось, как на уроке истории преподаватель, Иван Фердинандович Сегюр (все семиклассницы были влюблены в него по уши), рассказывал о роли сильной личности в обществе.

Есть два типа естественных вождей: первый переполнен энергией, активен, любого перекричит, задавит, собьет с толку и потащит за собой хоть бы и против воли; второй молчалив и на первый взгляд малоподвижен, но покоряет толпу ощущением спокойной, уверенной силы. Сила вождей этого склада, утверждал умнейший Иван Фердинандович, загадочно посверкивая на учениц стеклышками пенсне, состоит в природном психологическом дефекте — им неведом страх смерти. Наоборот, всем своим поведением они как бы искушают, призывают небытие: мол, приди, возьми меня скорей. Грудь гимназистки Мироновой вздымалась под белым фартуком, щеки пламенели — так волновали ее речи учителя.

Теперь, благодаря Сегюру, она понимала, почему такой человек, как принц Гэндзи, пожелал вступить в ряды «Любовников Смерти». Должно быть, и в самом деле личность выдающаяся, отчаянная, способная на чрезвычайные поступки.

— Готовы ли вы? — спросил он Офелию.

Она уже впала в транс: ресницы опустились, лицо сделалось пустым, губы чуть шевелились.

— Да, я готова, — ответила она пока еще своим обычным голосом.

— Как звали последнего избранника, того, что п-повесился? — тихо спросил Гэндзи у сидевшего рядом Гильденстерна.

— Аваддон.

Гэндзи кивнул и приказал:

— Вызовите дух Аваддона.

С минуту ничего не происходило. Потом над столом пронесся уже знакомый Коломбине холодный ветерок, от которого всякий раз перехватывало дыхание. Огонь свечей качнулся, а Офелия запрокинула голову назад, будто ее толкнула некая невидимая сила.

— Я пришел, — просипела она сдавленно, и все же очень похоже на голос повесившегося. — Трудно говорить. Сплющено горло.

— Мы не будем вас долго мучить. — Странно, но, беседуя с духом, Гэндзи совершенно перестал заикаться. — Аваддон, где вы?

— Между.

— Между чем и чем?

— Между чем-то и ничем.

— Спросите, что он сейчас испытывает? — возбужденно шепнула Львица.

— Скажите, Аваддон, какое чувство вы сейчас испытываете?

— Страх... Мне страшно... Очень страшно...

Офелия, бедняжка, и вправду вся задрожала, даже застучала зубами, а ее розовые губки стали фиолетовыми.

— Почему вы решились уйти из жизни?

— Мне был послан Знак.

Все затаили дыхание.

— Какой?

Дух долго не отвечал. Офелия беззвучно открывала и закрывала рот, ее лоб наморщился, будто она к чему-то сосредоточенно прислушивалась, ее ноздри раздувались. Коломбина испугалась, что сейчас вещунья снова понесет невнятную чушь, как во время всех последних сеансов.

— Вой... — просипела та. — Жуткий вой... Голос зовет меня... Это Зверь... Она прислала за мной Зверя... Невыносимо! Строчку, только написать последнюю строчку, и тогда всё, всё, всё! Где я теперь? Где я теперь? Где я теперь?

Дальше слова сделались неразборчивы, Офелию всю трясло. Она внезапно раскрыла глаза. В них читался такой невыразимый ужас, что некоторые из присутствующих вскрикнули.

— Вернитесь! Немедленно возвращайтесь обратно! — резко воскликнул Гэндзи. — Ступайте с миром, Аваддон. А вы, Офелия, идите ко мне. Сюда, сюда... Спокойно.

Она понемногу приходила в себя. Зябко передернулась, всхлипнула. Львица обняла ее, поцеловала в макушку, загудела что-то утешающее.

Коломбина же сидела, сраженная леденящим кровь открытием. Знак! Знак Зверя! Смерть послала к Аваддону, своему избраннику, Зверя! «В доме Зверь!» «Урчит насытившийся Зверь!» Это была не метафора, не фигура речи!

В этот миг она оглянулась и увидела: в дверях, что вели из гостиной в прихожую, стоял Просперо и смотрел на участников сеанса. На его лице застыло странное, потерянное выражение. Так стало его жалко — не передать словами! У Христа из двенадцати апостолов сыскался всего один Иуда, а тут все как один: предали, бросили учителя.

Она порывисто вскочила, подошла к Просперо, но он на нее даже не

взглянул — смотрел на Офелию и медленно, будто не веря, покачивал головой.

Соискатели, вполголоса переговариваясь, начали расходиться.

Коломбина ждала, чтоб они все ушли. Тогда она останется с дожем вдвоем и покажет ему, что на свете есть и подлинная верность, и любовь. Сегодня она будет ему не покорной куклой, а настоящей возлюбленной. Их отношения переменятся раз и навсегда! Никогда больше он не почувствует себя преданным, одиноким!

И Просперо произнес заветные слова, только адресовал их не Коломбине.

Поманил пальцем Офелию, тихо сказал:

— Останься. Мне тревожно за тебя.

Потом взял ее за руку и повел за собой вглубь дома. Она покорно семенила за ним — маленькая, бледная, обессиленная общением с духами. Но ее личико светилось радостным удивлением. Что ж, хоть и малахольная, но все-таки тоже женщина! Коломбина топнула ногой, не в силах видеть эту идиотскую улыбку, опрометью выскочила на улицу и заметалась у крыльца, плохо понимая, что нужно делать и куда идти.

Тут как раз вышел Гэндзи, внимательно взглянул на расстроенную барышню, поклонился.

— Время позднее. Вы позволите вас п-проводить, мадемуазель Коломбина?

— Я не боюсь бродить в ночи одна, — прерывисто ответила она и не могла продолжать — подкатывали рыдания.

— И всё же провожу, — решительно сказал Гэндзи.

Взял под руку, повел прочь от проклятого дома. У нее не было сил ни спорить, ни отказываться.

— Странно, — задумчиво произнес Гэндзи, будто не замечая состояния спутницы. — Я всегда считал медиумизм шарлатанством или, в лучшем случае, самообманом. Но мадемуазель Офелия не похожа на лгунью или истеричку. Она интересный экземпляр. И то, что она сообщила, тоже весьма интересно.

— В самом деле? — покосилась на японского принца Коломбина и незлегантно шмыгнула носом.

Подумалось тоскливое: вот и этому Офелия интересней, чем я.

"Ее нашел лодочник. Она зацепилась краем платья за опору Устинского моста, где Яуза впадает в Москву-реку. Так и покачивалась там, в мутной зеленой воде. Распущенные волосы, словно водоросли, струились, колеблемые течением. Мне рассказал об этом Гэндзи, он всё знает и всюду вхож. У него даже в полиции свои осведомители.

Сначала она исчезла, и два дня Просперо не собирал нас, потому что без нее сеансы всё равно невозможны.

В эти два дня я не знала, чем себя занять. Один раз сходила в мелочную лавку, купила полфунта чаю и два баумкухена по четыре копейки. Один надкусила, ко второму даже не притронулась. Вышла пообедать в кухмистерскую, прочла меню и заказала только сельтерской воды. Остальное время просто сидела на постели и смотрела то в стену, то в окно. Меня не было. Есть совсем не хотелось, спать тоже.

Куклу словно положили в пыльный ящик — она лежала там, пялилась стеклянными глазами в потолок. Идти было некуда и незачем. Хотела писать стихи — не вышло. Оказывается, я уже не могу без наших собраний, без Просперо. Совсем не могу.

Приходил Пьеро, нес какой-то вздор, я почти не слушала. Взял за руку, долго ее жал и целовал. Было щекотно, потом надоело, и я руку выдернула.

Вчера вдруг заглянула Львица Экстаза, просидела долго. Я была польщена этим визитом. Она говорливая, с размашистыми жестами, всё время курит папиросы. С ней не скучно, но только она какая-то несчастная, хоть и утверждает, что живет полной жизнью. Считает себя большим знатоком мужчин. Сказала, что Просперо, вероятно, был когда-то сильно обижен или унижен женщиной, поэтому боится их, близко к себе не подпускает, а предпочитает мучить. Тут она выжидательно на меня посмотрела — не пущусь ли я в откровения. Как бы не так. Тогда Львица начала откровенничать сама. У нее двое любовников, и оба известные (она сказала со значением «слишком известные») люди — редактор газеты и некий Большой Поэт. Обожают ее безмерно, она же с ними играет, как с комнатными собачками. «Секрет обращения с мужчинами прост, — поучала меня Львица. — Если не владеешь этим секретом, они становятся опасными и непредсказуемыми. Но в сущности они примитивны и легко управляемы. Сколько бы лет им ни было, какое бы высокое положение они ни занимали, в глубине души каждый остается мальчишкой, подростком. И вести себя с мужчиной нужно, как с годовалым бульдогом — зубищи у дурашки уже выросли, так что лучше не дразнить, но бояться его не стоит. Немножко польстить, немножко поинтриговать, время от времени почесать за ухом, заставить потянуться за косточкой на задних лапках, но только не

томить слишком долго, иначе их внимание отвлечет какая-нибудь другая косточка, недоступнее. Поступайте так, дитя мое, и вы увидите, что мужчина — милейшее создание: неприхотливое, полезное и очень, очень благодарное».

Таким образом Лорелея наставляла меня довольно долго, но я чувствовала, что пришла она не за этим. А потом, видно, решившись, она сказала такое, что я задрожала от волнения.

Вот ее слова в точности:

— Я должна с кем-то поделиться, — пробормотала Львица, оборвав собственные разглагольствования на полуслове. — С кем-то из наших, и непременно с женщиной. Но не с Офелией же? Да и неизвестно, куда она подевалась. Остается только вы, милая Коломбина... Конечно, следовало бы держать язык за зубами, но меня всю распирает... Я вам тут несла всякую чушь про своих любовников. Это пустяки, жалкие суррогаты, которые помогают хоть как-то заполнить дырку в душе. Они мне больше не нужны. — Она понизила голос и схватила пухлой, усыпанной кольцами рукой за перламутровые часики, что висели у нее на шее. — Кажется, я избрана, — сообщила она страшным шепотом. — И безо всяких сеансов! Царевич Смерть послал мне Знак. «Но черной розы в сокровенной тьме пройдет и не заметит», написала я. А Он заметил и недвусмысленно дал это понять. Знак повторен уже дважды! Сомнений почти не остается!

Я, конечно, накинулась на нее с расспросами, но она внезапно замолчала, и ее пухлое лицо исказилось от испуга.

— Господи, а вдруг Он оскорбится на меня за болтливость? Что если теперь третьего Знака не будет?

И в смятении убежала, оставив меня терзаться завистью. Кажется, терзаться завистью — это всё, что мне в последнее время остается.

Как я завидовала Офелии! Как ненавидела ее! Как хотела оказаться на ее месте!

А, выходит, ее место — мутная вода под Устинским мостом, где плавают сор и в иле шевелятся жирные пиявки.

* * *

Гэндзи позвонил в дверь без четырех минут пять — я лежала на кровати и от нечего делать смотрела на циферблат часов.

— Она нашлась, — сказал он, когда я открыла.

— Кто? — спросила я.

— Как кто? — удивился он. — Офелия.

Какой-то знакомый из полиции сообщил ему о найденной в Яузе утопленнице, по приметам похожей на пропавшую девушку. Гэндзи уже был в морге, однако достоверного опознания произвести не смог, ведь он видел ее только в полумраке, да и лицо изменилось.

— Я заезжал к Просперо, но его нет дома, — сказал Гэндзи. — Вы — единственная из соискателей, чей адрес мне известен. И то лишь благодаря тому, что я однажды проводил вас до дому. Едемте, Коломбина.

И мы поехали...

* * *

Да, это была Офелия, вне всякого сомнения. Служитель сдернул грязно-серую, с тошнотворными пятнами простыню, и я увидела худенькое тельце, вытянувшееся на узком, оцинкованном столе, заострившееся личико, знакомую оцепенелую полуулыбку на бескровных губах. Офелия лежала совсем нагая; ее тонкие ключицы, ребра, острые бедра проступали сквозь голубоватую кожу; руки были сжаты в крошечные кулачки. В первый миг труп показался мне похожим на ощипанного цыпленка.

Если Вечный Жених меня выберет, я тоже буду лежать вот так — голая, с остекленевшими глазами, и пьяный сторож прицепит мне к ноге клеенчатый номерок?

Со мной приключилась самая настоящая истерика.

— Она не хотела умирать! Она не должна была умереть! — кричала я, рыдая у Гэндзи на груди самым жалким образом. — Она даже не была настоящей соискательницей! Он не мог ее выбрать!

— Кто «он»?

— Смерть!

— Почему тогда «он», а не «она»?

Я не стала объяснять непонятливому про der Tod, а вместо этого, неожиданно для себя самой, набросилась на него с упреками:

— Почему вы меня привезли в это кошмарное место? Вы лжете, что не могли ее опознать! Не так уж она изменилась! Вам нарочно хотелось меня помучить!

И тут он тихо, но отчетливо произнес:

— Вы правы. Я хотел, чтобы вы видели ее такой.

— Но... Но зачем?

Я задохнулась от негодования.

— Чтобы вы очнулись. Чтобы поняли — этому сумасшествию нужно положить конец. — Гэндзи кивнул на голубое тело утопленницы. — Хватит смертей. Для того я и вступил в ваше общество.

— Так вы не хотите стать женихом Смерти? — тупо спросила я.

— Однажды, много лет назад, я уже исполнил эту роль, — с мрачным видом ответил он. — Думал, что женюсь на прекрасной девушке, а вместо этого женился на смерти. Одного раза довольно.

Я не поняла этой аллегории. Да и вообще не могла ничего здесь понять.

— Но ведь вы стрелялись из револьвера! — вспомнила я. — Причем дважды! Просперо рассказывал. Или это был какой-то трюк?

Он с некоторым смущением дернул плечом.

— Что-то вроде этого. Видите ли, мадемуазель Коломбина, я в некотором роде являю собой редкостный феномен: всегда выигрываю в любой *jeu de hasard*.^[1] Не знаю, чем объясняется эта аномалия, но я давно уже с нею свыкся и изредка ею пользуюсь в практических целях, как, например, во время знакомства с господином Просперо. Даже если бы в барабане было вставлено четыре патрона из пяти, мне наверняка выпало бы пустое гнездо. А уж один шанс смерти на четыре шанса жизни — это просто смешно.

Я не знала, как отнестись к этому диковинному объяснению. Обыкновенное бахвальство или у него в самом деле какие-то особенные отношения с судьбой?

Гэндзи сказал:

— Не забывайте того, что увидели здесь. И ради Бога, не делайте глупостей, какие бы чудодейственные знаки вам ни были явлены. Ждать осталось недолго, все решится уже завтра. Я разрушу этот омерзительный храм трупопоклонства. Да, я не успел вам сказать — рассылный принес мне записку от Просперо. Наверняка вам нынче доставят такую же. Собрания возобновляются. Завтра нас ждут, как обычно, в девять.

Я сразу забыла и о Гэндзи с его разрушительными планами, и даже о холодной мертвецкой, насквозь пропахшей миазмами разложения.

Завтра! Завтра вечером я опять увижу его.

Я проснусь, я снова начну жить".

Он был волшебнo прекрасен

— Сегодня я представлю вам лучшее из своих изобретений! —

объявил дождь, стремительно входя в полутемную гостиную.

Он показался Коломбине волшебным прекрасным в малиновой бархатной блузе с батистовым жабо, сдвинутым набок беретом и коротких замшевых сапогах. Истинный Мефистофель! На боку, усугубляя сходство, посверкивал драгоценными камнями кинжал.

Вслед за ним из дверей повеяло сквозняком, свечи на столе затрепетали и погасли — остался лишь неверный пламень жаровни.

Дождь вынул клинок из ножен, коснулся поочередно каждой из свечей, и — о чудо из чудес — они снова зажглись одна за другой!

Затем Просперо обвел взглядом собравшихся, и глаза каждого загорелись, точно так же, как минутой раньше свечи. Коломбина ощутила на себе привычное воздействие этого магнетического взгляда. Ее вдруг бросило в жар, сделалось трудно дышать, и она почувствовала, что наконец просыпается, выходит из спячки, длившейся целых три дня — всё то время, пока не было вечерних собраний.

Самое сказочное, самое чудесное из всех доступных человеку переживаний — предвкушение чуда — охватило и Коломбину, и, надо полагать, всех остальных.

Кудесник встал перед столом, и только теперь большинство присутствующих заметили, что все стулья кроме одного, председательского, исчезли, а посередине полированной поверхности возвышается нечто круглое, похожее на большой свадебный торт и прикрытое узорчатым платком.

— Когда-то я был инженером, и, говорят, недурным, — сказал дождь, вкрадчиво улыбаясь в седые усы. — Но, уверяю вас, ни одно из моих изобретений не может сравниться с этим по гениальной простоте. Офелия соединилась с Вечным Суженым. Мы рады за нее, но кто теперь поможет нам поддерживать связь с Иным Миром? Я долго ломал над этим голову и придумал. Что лучше и недвусмысленней всего оповещает человека о том, как к нему относится рок?

Он подождал ответа, но все одиннадцать соискателей молчали.

— Ну же! — подбодрил нас Просперо. — Решение подсказал мне один из вас — принц Гэндзи.

Все посмотрели на Гэндзи. Тот глядел на дождя исподлобья, словно предчувствовал какую-то каверзу.

— Слепой случай, — торжествующе объявил Просперо. — Нет ничего более зрячего, чем слепой случай! Это и есть воля Высшего Судии. Спиритический сеанс — ненужная аффектация, забава для скучающих, истеричных дамочек. У нас все будет просто, ясно и безмолвно.

С этими словами он сдернул со стола платок. Что-то пестрое, колесообразное блеснуло сотней ослепительных звездочек. Рулетка! Обычная рулетка, из тех, какие можно увидеть в любом казино.

Однако, когда соискатели сгрудились вокруг стола и рассмотрели рулетку получше, обнаружилось, что в этом колесе фортуны имеется одна необычность: там, где полагалось быть двойному zero, белел череп с перекрещенными костями.

— Изобретение называется «Колесо Смерти». Теперь каждый сможет сам выяснить свои отношения с Вечной Невестой, — сказал Просперо. — А вот вам и новый медиум. — Он раскрыл ладонь — на ней, посверкивая, лежал маленький золотистый шарик. — Этот прихотливый и, на первый взгляд, не подвластный ничьей воле кусочек металла станет вестником Любви.

— Но ведь Послания могут быть отправлены и иным способом? — встревоженно спросила Львица Экстаза. — Или теперь непременно через рулетку?

Беспокоится за свои Знаки, догадалась Коломбина. Ведь у Львицы установились с Царевичем собственные тайные отношения. Интересно какие? Что за Знаки он ей посылает?

— Я не толмач у Смерти, — строго и печально молвил дож. — Я не владею Ее языком в совершенстве. Откуда мне знать, каким способом пожелает Она объявить своему избраннику или избраннице о взаимности? Но этот способ прямого общения с роком представляется мне неоспоримым. Он похож на тот, при помощи которого древние испытывали у оракула волю Морты, богини смерти.

Такой ответ Львицу, кажется, совершенно удовлетворил, и она с видом превосходства отошла от стола.

— Каждый из вас получит равный шанс, — продолжил Просперо. — Тот, кто чувствует себя готовым, кто достаточно крепок духом, может попытать счастья уже сегодня. Кому повезет, у кого после броска шарик попадет на знак мертвой головы, тот и есть избранник.

Сирано спросил:

— А если все попытают счастья, и никому не повезет? Так и будем крутить колесо ночь напролет?

— Да, вероятность успеха невелика, — согласился Просперо. — Один шанс из тридцати восьми. Если никому не повезет, стало быть, Смерть еще не сделала свой выбор. Игра продолжится в следующий раз. Согласны?

Первым откликнулся Калибан:

— Превосходная идея, Учитель! По крайней мере всё будет честно, без

любимчиков. Эта ваша Офелия меня терпеть не могла. С ее сеансами я дожидался бы своей очереди до скончания века! А между прочим, кое-кому из тех, кто пришел позже меня, уже удалось сорвать куш. Теперь всё будет по-честному. Фортуна, ее не обдуришь! Только зря вы не позволяете бросать жребий несколько раз, до результата.

— Будет так, как я сказал, — сурово оборвал его дож. — Смерть — не та невеста, которую тащут к алтарю силой.

— Но бросать шарик может только тот, кто, так сказать, нравственно созрел? Участие в игре не является обязательным? — тихо спросил Критон и, когда дож кивнул, сразу же успокоенно заявил. — В самом деле, эти спиритические завывания порядком надоели. С рулеткой быстрее, и сомнений никаких.

— По-моему, затея с азартной игрой вульгарна, — пожал плечами Гдлевский. — Смерть — не крупье в белой манишке. Ее Знаки должны быть поэтичней и возвышенней. Но можно и шарик по кругу погонять, пощекотать себе нервы. Отчего нет?

Лорелея горячо воскликнула:

— Вы правы, светоносный мальчик! Эта затея принижает величие Смерти. Но вы не учитываете одного: Смерти чужд снобизм, и с каждым, кто в нее влюблен, Она беседует на доступном поклоннику языке. Пусть крутят свое колесико, нам-то с вами что за дело?

Коломбина заметила, что Калибан, завидовавший обоим поэтическим небожителям и ревновавший их к дождю, весь скривился от этих слов.

Прозектор Гораций покашлял, поправил пенсне, деловито осведомился:

— Ну хорошо, предположим, одному из нас выпал череп. Что дальше? Каковы, так сказать, последующие действия? Счастливец должен немедленно бежать вешаться или топиться? Этот акт, согласитесь, требует известной подготовки. Если же отложить исполнение до утра, то в душе может шевельнуться слабость. Не будет ли оскорблением для Смерти и всех нас, если ее избранник... м-м-м... сбежит из-под венца? Прошу извинения за прямоту, но я не полностью уверен во всех наших членах.

— Вы... Вы намекаете на меня? — дрожащим голосом выкрикнул Петя. — Вы не смеете! Если я давно состою в клубе и до сих пор еще жив, это вовсе не означает, что я уклоняюсь или малодушничая. Я ждал сообщения от духов! А рулетку я готов крутить первым!

Коломбину Петин эмоциональный всплеск застал врасплох — она-то вообразила, что выпад прозектора адресован ей. На воре шапка горит: как раз представила себе, что придется нынче же, вот прямо сегодня умереть, и

сделалось невыносимо, до дрожи страшно.

Просперо поднял руку, призывая к молчанию.

— Не беспокойтесь, я обо всем позаботился. — Он показал на дверь. — Там, в кабинете, приготовлен хрустальный бокал с мальвазеей. В вине растворен цианид, благороднейший из ядов. Избранник или избранница осушит свадебный кубок, потом пройдет улицей до бульвара, сядет на скамейку и четверть часа спустя уснет тихим сном. Это хороший уход. Без боли, без сожалений.

— Тогда другое дело, — пожевав губами, сказал Гораций. — Тогда я «за».

Близнецы переглянулись, и Гильденстерн изрек за обоих:

— Да, нам этот способ нравится лучше, чем спиритизм. Математическая Wahrscheinlichkeit^[2] — это серьезней, чем голос духов.

Кто-то коснулся Коломбининого локтя. Обернулась — Гэндзи.

— Как вам изобретение Просперо? — спросил он вполголоса. — Вы единственная ничего не сказали.

— Не знаю, — ответила она. — Я как все.

Странно — никогда еще она не чувствовала себя такой живой, как в эти минуты, возможно, предшествующие смерти.

— Просперо — настоящий маг, — взволнованно прошептала Коломбина. — Кто еще смог бы наполнить душу таким трепетным, всеохватным восторгом бытия? «Всё, всё что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». О, как это верно! «Бессмертья, может быть, залог!»

— И что же, если вам выпадет череп, вы послушно выпьете эту дрянь?

Коломбина представила, как предательское вино огненным ручейком стекает по горлу внутрь ее тела, и передернулась. Страшнее всего будет пережить ту четверть часа, когда сердце еще бьется, разум еще не уснул, но обратной дороги уже нет, потому что ты — живой труп. Кто и когда обнаружит на скамейке ее мертвое тело? А вдруг она будет сидеть развалясь, с выпученными глазами, разинутым ртом и ниткой свисающей слюны?

От чрезмерной живости воображения задрожали губы, сами собой затрепетали ресницы.

— Не бойтесь, — шепнул Гэндзи, ободряюще сжав ей локоть. — Череп вам не выпадет.

— Почему вы так уверены? — обиделась она. — Вы считаете, что Смерть не может меня избрать? Я недостойна быть ее любовницей?

Он вздохнул:

— Нет, все-таки наша русская почва для учения господина Просперо не приспособлена, это явствует из самой г-грамматики. Ну что вы такое сейчас сказали? «Ее любовницей». Это отдает извращением.

Коломбина поняла, что он пытается ее развеселить, и улыбнулась, но получилось вымученно.

Гэндзи повторил уже совершенно серьезно:

— Не бойтесь. Вам не придется пить яд, потому что заветный череп наверняка выпадет мне.

— Да вы сами боитесь! — догадалась она, и страх немедленно отступил, потесненный злорадством. Вот вам и отчаянная личность — тоже боится! — Вы только изображаете из себя сверхчеловека, а на самом деле вам, как и всем остальным, сейчас небо с овчинку кажется!

Гэндзи пожал плечами:

— Я ведь говорил вам про мои особенные отношения с Фортуной.

И отошел в сторону.

Между тем всё уже было готово к ритуалу.

Дождь воздел руку, призывая соискателей к тишине. Между большим и указательным пальцами он держал шарик, посверкивающий бликами и оттого похожий на яркую золотую звездочку.

— Итак, дамы и господа. Кто чувствует себя готовым? Кто первый?

Гэндзи сразу же вскинул руку, но конкуренты оказались активнее.

Калибан и Розенкранц, робкий Коломбинин воздыхатель, в один голос воскликнули:

— Я! Я!

Бухгалтер уставился на своего соперника так, словно хотел разорвать его на части, Розенкранц же горделиво поглядел на Коломбину, за что был вознагражден ласковой, ободряющей улыбкой.

Сдержанного жеста Гэндзи ни они, ни Просперо не заметили.

— Мальчишка! — закипятился Калибан. — Как вы смее? Я первый! И возрастом старше, и стажем в клубе!

Но тихий немчик по-бычьему наклонил голову и уступать явно не собирался.

Тогда Калибан воззвал к дождю:

— Что же это такое, Учитель? Русскому человеку в собственной стране жизни не стало! Куда ни плюнь, одни немцы, да полячишки, да жидки, да кавказцы! Мало того что жить не дают, так еще и на тот свет вперед пролезть норовят! Рассудите нас!

Просперо строго произнес:

— Стыдись, Калибан. Неужто ты думаешь, что Вечная Возлюбленная придает значение таким пустякам, как национальность или исповедание? В наказание за грубость и нетерпимость ты будешь вторым, после Розенкранца.

Бывший корабельный счетовод сердито топнул ногой, однако спорить не осмелился.

— Позвольте, — подал голос Гэндзи, — но я поднял руку еще прежде того, как эти господа заявили свою претензию.

— У нас здесь не аукцион, чтоб жестами сигнализировать, — отрезал дож. — Следовало заявить о своем намерении вслух. Вы будете третьим. Если, конечно, до вас дойдет очередь.

На этом дискуссия закончилась. Коломбина заметила, что вид у Гэндзи весьма недовольный и даже несколько встревоженный. Вспомнила его вчерашнюю угрозу разогнать клуб «Любовников Смерти». Интересно, как бы ему это удалось? Соискатели ведь собрались здесь не по принуждению.

Розенкранц взял у дожа шарик, внимательно посмотрел на него и внезапно осенил себя крестом. Коломбина жалостливо ойкнула — так поразил ее этот неожиданный жест. Немец же раскрутил рулетку, а потом взял и выкинул штуку уж совсем на него непохожую: посмотрел прямо на сострадающую барышню и быстро поцеловал шарик, после чего решительно бросил его на край колеса.

Пока оно вертелось — а это длилось целую вечность — Коломбина шевелила губами: молила Бога, Судьбу, Смерть (уж и сама не знала, кого), чтобы мальчику не выпала роковая ячейка.

— Двадцать восемь, — хладнокровно объявил Просперо, и у присутствующих вырвался дружный вздох.

Побледневший Розенкранц с достоинством молвил:

— Schade.^[3]

Отошел в сторону. На Коломбину он теперь уже не смотрел, очевидно, уверенный, что и без того произвел должное впечатление. По правде говоря, так оно и было — Розенкранц с этим его отчаянным поцелуем показался ей ужасно милым. Только сердце Коломбины, увы, принадлежало другому.

— Дайте, дайте сюда! — Калибан нетерпеливо схватил шарик. — Я чувствую, мне должно повезти.

Он трижды плюнул через левое плечо, крутанул рулетку что было мочи и выбросил шарик так, что тот золотым кузнечиком заскакал по ячейкам и чуть не вылетел за бортик.

Все, оцепенев, наблюдали за постепенно замедляющимся верчением

колеса. Обессиленный шарик попал на череп! Из груди бухгалтера вырвался торжествующий вопль, но в следующий миг золотой комочек, будто притянутый некоей силой, перевалился через разделительную черту и утвердился в соседней ячейке.

Кто-то истерично хихикнул — кажется, Петя. Калибан же стоял, словно пораженный громом.

Потом прохрипел:

— Не прощен! Отринут! — И с глухим рыданием кинулся к выходу.

Просперо со вздохом сказал:

— Как видите, Смерть недвусмысленно извещает о своей воле. Так что, хотите попытать счастья?

Вопрос был обращен к Гэндзи. Тот учтиво поклонился и проделал положенную процедуру быстро, скупно, безо всякой аффектации: слегка раскрутил рулетку, небрежно уронил шарик и после этого на него даже не смотрел, а наблюдал за дожем.

— Череп! — взвизгнула Львица.

— Ха! Вот это фокус! — звонко выкрикнул Гдлевский.

Потом все закричали и заговорили разом, а Коломбина непроизвольно простонала:

— Нет!

Она сама не знала, почему.

Нет, пожалуй, знала.

Этот человек, которого ей довелось знать так недолго, источал ауру спокойной, уверенной силы. Рядом с ним отчего-то делалось светло и ясно, она будто снова превращалась из заплутавшей средь темных кулис Коломбины в прежнюю Машу Миронову. Но, видно, обратной дороги не было, и роковой бросок Гэндзи являл собой самое определенное тому доказательство.

— Примите поздравления, — торжественно сказал Просперо. — Вы счастливчик, мы все вам завидуем. Прощайте, друзья мои, до завтра. Идемте, Гэндзи.

Дождь обернулся и медленно вышел в соседнюю комнату, оставив двери открытыми.

Перед тем как двинуться следом, Гэндзи повернулся к Коломбине и улыбнулся ей — будто хотел успокоить.

Ничего у него не вышло.

Она выбежала на улицу, давась рыданиями.

III. Из папки «Агентурные донесения»

Его высокоблагородию подполковнику Бесикову

(В собственные руки)

Милостивый государь Виссарион Виссарионович!

История с «Любовниками Смерти» и роль Дожа во всех этих событиях открылись с совершенно новой стороны.

Пишу это письмо ночью, под свежим впечатлением. Я только что вернулся с квартиры Дожа, где мне довелось стать свидетелем поистине поразительных событий. О, как легко ошибиться в людях!

Прошу извинения за некоторую сбивчивость — я все еще очень взволнован. Попробую изложить всё по порядку.

Сегодня заседания общества, временно прервавшиеся из-за исчезновения медиума, были возобновлены. Признаться, я рассчитывал, что пропажа Весталки приведет Дожа в смятение и выбьет из его рук наиболее опасное оружие, но он оказался весьма изобретателен и предприимчив. Найденная замена спиритизму блистательно проста: рулетка, на которой одна из ячеек помечена черепом с костями. Тот, кому выпадет сей зловещий символ смерти, должен выпить яду, собственноручно приготовленного Дожем.

Я был окрылен, когда услышал всё это, ибо решил, что человек, представлявшийся мне исчадием ада, наконец утратил всегдашнюю осторожность и теперь его можно будет взять с поличным.

Мне повезло: сегодня же, в самый первый вечер этой игры, наверняка азартнейшей из всех доступных смертному, обнаружился победитель — тот самый Заика, о котором я уже имел честь Вам докладывать и который почему-то Вас так заинтересовал. Он и в самом деле тип незаурядный, я получил возможность в этом удостовериться, но откуда Вы-то могли это знать? Загадка.

Однако не буду отклоняться.

Когда все наши удалились, я спрятался в прихожей и после вернулся в гостиную, где свечи и жаровня уже были погашены. Очень кстати пришлось то, что Дож из каких-то идейных соображений не признает прислуги.

План мой был очень прост. Я рассчитывал получить прямое доказательство виновности Дожа. Для этого достаточно было проскользнуть через столовую, слегка приоткрыть дверь в кабинет (все двери в доме обиты мягкой кожей и оттого закрываются неплотно) и дожждаться, пока хозяин собственноручно предложит Заике чашу с отравленным вином. После мучительных колебаний я пришел к выводу, что ради интересов дела Заикой придется пожертвовать — тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, рассудил я, жизнь одного человека менее ценна, чем возможность отвести угрозу от десятков, а может быть и сотен неокрепших душ.

Когда Заика выпьет яд и выйдет умирать на бульвар (так было уговорено заранее), я вызову городского, который всегда стоит на Трубной площади. Факт смерти от отравления будет зарегистрирован официальным представителем власти, а если Заика к моменту появления полицейского еще не потеряет сознания и если у него есть хоть капля совести, то он успеет дать показания против Дожа, которые будут должным образом занесены в протокол. Но даже если таковых показаний и не будет, думал я, вполне хватит одного только факта смерти и моего свидетельства. Мы с городовым немедленно отправились бы на квартиру к Дожу и произвели бы задержание иреступника по горячим следам. Вряд ли он успел бы вымыть бокал, на стенках которого должны были остаться следы цианида. Плюс к этому живой свидетель — я. Опять же наличие рулетки с черепом.

Признайте, что задумано было неплохо. Во всяком случае, роль Дожа тут выходила бы самая неприглядная: затеял у себя дома смертельно опасную игру, в которой к тому же сам участия не принимал; приготовил отраву; сам ее поднес. Имелся бы и результат всех этих действий — еще не остывший труп. Это уже явное уголовное преступление. К тому же у меня были основания надеяться, что я сумею убедить двоих, а то и троих из наименее закоренелых «любовников» дать показания в пользу обвинения, если дело дойдет до судебного разбирательства.

А теперь я опишу Вам, как всё вышло в действительности.

Мне удалось приоткрыть дверь совершенно беззвучно, а поскольку в столовой было совсем темно, я мог не только слышать, но и видеть происходившее в кабинете без риска оказаться обнаруженным.

Мэтр сидел в кресле за письменным столом с торжественным и даже величественным видом. На полированной поверхности посверкивал хрустальный кубок с жидкостью гранатового цвета.

Заика стоял рядом, так что сцена отчасти напоминала картину художника Ге «Петр допрашивает царевича Алексея». С детства люблю это

полотно, оно всегда поражало меня своей потаенной чувственностью. Сколько раз я воображал себя плененным цесаревичем: стою пред грозным Петром, находясь всецело в его власти, и сердце сладко сжимается от острого чувства, в котором смешиваются сознание своей абсолютной незащитности, страх перед карой и надежда на отцовское милосердие! Правда, в отличие от цесаревича, Заика взирал на сидящего прямо и безо всякой боязни. Я поневоле поразился такому присутствию духа у человека, которому через несколько минут суждено проститься с жизнью.

Оба молчали, и пауза всё не кончалась. Заика пристально смотрел Дождю в глаза, и у того сделался довольно озадаченный вид. Он нарушил молчание первым.

«Мне, право, жаль, — с некоторым смущением, которое в обычных обстоятельствах ему отнюдь не свойственно, сказал хозяин кабинета, — что жребий выпал именно вам».

«Отчего же? — спросил Заика ровным голосом. — Ведь это наивысшая удача, не правда ли?»

Еще более смешавшись, Дождь поспешно произнес: «Да-да, разумеется. Я уверен, что все прочие соискатели — или почти все — были бы счастливы оказаться на вашем месте... Я всего лишь имел в виду, что мне жаль так скоро расставаться с вами. Вы меня интригуете, а случая поговорить по душам у нас так и не выдалось».

«Что ж, — все так же ровно молвил Заика, — давайте поговорим по душам. Я никуда не спешу. А вы?»

Мне показалось, что Дождь обрадовался этим словам: «Отлично, давайте поговорим. Я ведь, собственно, не знаю, отчего вы, человек зрелый и, по всему видно, самостоятельный, так стремились попасть в число моих учеников. Чем больше я об этом думал, тем более странным мне это представлялось. Вы ведь по складу одиночка и нисколько не похожи на пресловутого субъекта, который за компанию повесился. Если у вас имеются веские причины желать смерти, вы преспокойно могли бы обойтись и безо всех этих церемоний».

«Но изобретаемые вами церемонии куда как заняты. А я, сударь, человек любопытный».

«М-да, — задумчиво протянул Дождь, глядя на собеседника снизу вверх. — Вы и вправду человек любопытный».

«О, не более, чем вы, господин Благовольский», — сказал вдруг Заика.

Позднее Вам станет ясно, почему я считаю возможным теперь не скрывать от Вас подлинное имя Дожа (кстати говоря, в клубе он носит имя «Просперо»). Правда, должен сказать, что фамилии его я прежде не знал и

впервые услышал ее из уст Заики.

Дожджал пожал плечами. «Итак, вы навели обо мне справки и выяснили мое настоящее имя. Зачем вам это понадобилось?»

«Я должен был узнать о вас как можно больше. И мне это удалось. Москва — это мой город. У меня здесь много знакомых, причем в самых неожиданных местах».

«Что же еще обо мне выяснили ваши знакомые, обретающиеся в самых неожиданных местах?» — иронически осведомился Дожджал, но было видно, что ему явно не по себе.

«Многое. Например, то, что, отбывая семнадцатилетний срок заключения в Шлиссельбургской крепости, вы трижды пытались покончить с собой. В первый раз, в 1879 году, вы объявили протестную голодовку, чтобы облегчить положение товарищей, которых тюремное начальство лишило права на прогулку. Вас, голодающих, было трое. На двадцать первый день вы, один из всех, согласились принимать пищу. А двое остальных остались непреклонны и умерли».

Дожджал весь вжался в спинку кресла, а Заика неумолимо продолжал: «Во второй раз получилось еще хуже. В апреле 1881 года вы пытались совершить самосожжение после того, как комендант приговорил вас к показательной порке за неуважительный ответ инспектору. Вы сумели каким-то образом раздобыть спички, слили из фонаря керосин, пропитали им свой тюремный халат, а запалить огонь так и не решились. После того, как вас подвергли-таки телесному наказанию, вы сплели из ниток петлю, накинули ее на прут решетки и повисли было, но и здесь в самый последний момент умирать передумали. Уже барахтаясь в петле, вы ухватились за оконный выступ и стали громко звать на помощь. Надзиратели сняли вас и переправили в карцер... С тех пор и вплоть до самого освобождения по случаю коронации государя императора вы вели себя тихо и новых самоубийственных попыток не предпринимали. Странные у вас взаимоотношения с обожаемой вами Смертью, Сергей Ириархович».

Полагаю, Виссарион Виссарионович, что Вы по вашей линии сможете без труда проверить правильность изложенных Заикой сведений, однако у меня нет ни малейших сомнений в их достоверности — достаточно было видеть Дожджа. Он закрыл лицо ладонями, несколько раз всхлипнул и вообще имел самый жалкий вид. Показать бы соискателям в эту минуту их богоподобного Учителя, то-то фурор бы вышел. Я еще, помнится, подумал: уму непостижимо, как могла Смерть избрать своим орудием такого слюнтяя? Неужто не нашлось подручного достойней? Просто даже

посочувствовал ей, безносой.

Снова наступила продолжительная пауза. Дож всё всхлипывал и сморкался, а Заика ждал, пока он возьмет себя в руки. Наконец, Благовольский (как мне странно называть его этим именем) заговорил: «Вы из полиции? Ну конечно, иначе откуда бы узнали... Хотя нет, вы не можете быть из полиции — тогда вы так легко не играли бы со смертью, крутя барабан «бульдога». Это ведь мой собственный револьвер, и пули в нем были настоящие, уж я-то знаю. Кто вы? Кстати, не угодно ли присесть?»

Он показал на тяжелое дубовое кресло, стоявшее напротив.

Заика покачал головой и усмехнулся. «Ну, скажем, я представляю тайный клуб «Любовники Жизни». Считайте, что я прислан к вам с ревизией — не нарушаете ли вы правил честной игры. Я решительный противник самоубийства, за исключением некоторых особенных случаев, когда уход из жизни, собственно, самоубийством и не является. Вместе с тем, в отличие от христианских отцов-вероучителей, я считаю, что каждый человек волен распоряжаться своей жизнью и если уж решил себя истребить, то это его право. Но лишь в том случае, Сергей Иринархович, если роковое решение, действительно, принимается самостоятельно, без подталкивания или понуждения. И совсем другое дело, когда чрезмерно впечатлительному или подверженному чужим влияниям человеку, в особенности совсем молодому, намыливают петлю, услужливо подсовывают револьвер или придвигают чашу с ядом».

«О, как вы ошибаетесь на мой счет! — перебил Заика (который, впрочем, на протяжении всей вышеприведенной речи ни разу не заикнулся) Дож в крайнем волнении. — Я слабый, грешный человек! Да, я безумно, до оцепенения боюсь смерти! Более того — я ее ненавижу! Она худший мой враг. Я навеки опален и отравлен ее смрадным дыханием, трижды пахнувшим мне в лицо! Про «Любовников Жизни» вы, надо думать, сказали в фигуральном смысле, но если б такая организация действительно существовала, я стал бы фанатичнейшим ее участником!»

Заика недоверчиво качнул головой: «Неужели? Чем же тогда объяснить всю вашу деятельность?»

«А тем самым, милостивый государь! Именно тем самым и объясняйте! Я вступил в единоборство с жестокой, ненасытной гадиной, которая повадилась похищать из общества самых чистых, самых драгоценных его детей. Ведь сколько в последнее время людей, прежде всего молодых и неиспорченных, накладывают на себя руки! Это страшная болезнь, сухотка души, подаренная нам пресыщенной и изверившейся Европой. Я не гублю своих учеников, как вы вообразили, руководствуясь

внешними признаками. Я не убиваю неокрепшие души, я пытаюсь их спасти! — Он нервно дернул подбородком. — Послушайте, не могли бы вы сесть? У меня артрит, чертовски неудобно всё время задирать голову».

«Станный вы избрали способ спасения неокрепших душ», — молвил Заика, садясь в кресло.

«Еще бы не странный! Но действенный, очень действенный. Мой клуб «Любовники Смерти» — своего рода лечебница для душевнобольных, а я здесь вроде психиатра. Ведь я принимаю в члены не каких-то романтических юнцов, поддавшихся модному веянию и желающих поинтересничать перед знакомыми, а лишь тех, кто в самом деле одержим идеей смерти, кто уже поднес револьвер к виску. Я ловлю их в это опасное мгновение, заволакую их больным вниманием и пытаюсь увести в сторону от рокового шага. Прежде всего я избавляю будущего самоубийцу от изолированности и ощущения своего беспредельного одиночества. Отчаявшийся человек видит, что таких, как он, много, и есть люди, которым, возможно, еще тяжелее, чем ему. Это необычайно важно! Так уж мы все устроены — для выживания нам необходимо знать, что на свете есть кто-то несчастней нас. Второй принципиальный компонент моего «лечения» — воскрешение *любопытства*. Чтобы без пяти минут самоубийца перестал заниматься только собой, а удивленно воззрится на окружающий мир. Тут все средства хороши, вплоть до шарлатанских. Я бесстыдно морочу соискателям голову всякими ловкими фокусами и эффектной мишурой».

Дож небрежно показал на свой испанский берет и средневековый кинжал.

Заика кивнул: «Ну да, вроде зажжения свечи посредством клинка, который предварительно смазан фосфором. Это старинный трюк».

«Или горящего угля на ладони, натертой смесью яичного белка, камеди и крахмала, защищающей кожу от ожога, — подхватил Дож. — Всё годится, лишь бы впечатлить и подчинить своей воле... О, не нужно так проникательно улыбаться! Вы думаете, что я себя выдал, проговорился, упомянув о подчинении. Поверьте, я отлично знаю свои слабости. Да, конечно, помимо главной цели — спасения недужных — я еще и получаю от этой игры немало удовольствия. Не стану скрывать, мне нравится властвовать над душами, меня пьянят обожание и безграничное доверие, но, клянусь вам, приобретенную власть я использую не во зло! Я выдумываю все эти мудреные, а на самом деле смехотворные обряды лишь для того, чтобы месмеризировать будущего самоубийцу, отвлечь его, вызвать интерес к вечной тайне бытия! Ведь, по моим наблюдениям, люди чаще всего приходят к мысли о самоистреблении даже не от горя или

безысходности, а от отсутствия интереса к жизни, от скуки! Если же истинная причина самоубийственного порыва заключается всего лишь в нищете (а это тоже часто бывает), я стараюсь помочь такому соискателю деньгами — по возможности, каким-нибудь деликатным, не унижительным для этих болезненно гордых людей образом. — Здесь Дож запнулся и беспомощно развел руками. Зацепил пальцем крышечку бронзовой чернильницы в виде русского богатыря, поправил откинувшийся шлем и принялся нервно поглаживать его. — Но я не всемогущ. Слишком много запущенных, неизлечимых случаев. Часто, слишком часто мои ухищрения бессильны. Мои питомцы гибнут один за другим, и каждая утрата отнимает у меня по несколько лет жизни. И все же я вижу, что некоторые близки к исцелению. Наверняка вы заметили по сегодняшнему поведению соискателей, что кое-кому из них умирать уже совсем не хочется. Не удивлюсь, если, испугавшись бесстрастной рулетки, кто-то больше сюда не придет, и это будет моя истинная победа. Я спас бы много больше моих подопечных, если бы только...»

«Что «только»?» — поторопил его Заика, поднявшись из кресла. Помоему, он был потрясен услышанным не меньше, чем я. Во всяком случае, он внимал Дождю очень внимательно, не перебивая.

А тот всё медлил, и его лицо на глазах делалось бледней и бледней. Он словно решал, можно ли открыться собеседнику до конца.

Наконец решился: «...Если бы только... Да сядьте же! — Заика нетерпеливо качнул головой, и Дож заоглядывался по сторонам. Я увидел, что его черты искажены самым настоящим страхом. — Я не учел одного... Смерть в самом деле существует!»

Заика сдержанно заметил: «Это безусловно важное открытие».

«Не смейтесь! Вы отлично поняли, что я имею в виду. А если не поняли, то вы менее умны, чем кажется. Смерть существует не только как конец физического существования, но и как одушевленная субстанция, как злая сила, которая приняла мой вызов и вступила со мной в борьбу за души моих учеников».

«Послушайте, Благовольский, оставьте это для Львицы Экстаза», — поморщился Заика.

Дож горько улыбнулся.

«О, и я был таким же скептиком, как вы. Еще совсем недавно. — Он внезапно подался вперед всем телом и схватил собеседника за руку. Вид у него сделался почти безумный, а голос перешел на громкий шепот. — А про Знаки вы слышали? В свое время я сам придумал эту дополнительную сложность, чтобы соискатели не принимали завывания бедняжки Офелии

чересчур всерьез. Ловко было замыслено: мол, одного вызова духов недостаточно, нужно еще получить некий мистический вызов от Смерти. И получали!» — выкрикнул Дож, да так громко, что я от неожиданности ткнулся лбом в дверь. Слава Богу, момент был слишком напряженный, чтобы беседующие обратили внимание на этот глухой звук.

А Дож зачастил исступленной скороговоркой: «Все, все как один получали! Стоило Офелии назвать очередного избранника, и тому сразу же поступали Знаки!»

«Чушь, — сказал на это Заика. — Этого не может быть».

«Чушь? — Дож неприятно рассмеялся, блеснув воспаленными глазами. — Первым был Ворон, тихий пьяница, по ремеслу фотограф. Вечером Офелия назвала его избранником, а ночью он выпрыгнул из окна. Я выкупил у полицейского предсмертное стихотворение Ворона, там довольно невнятно толкуется про какое-то «виденье, коего посредством скреплен потусторонний зов». Стихи ужасные, просто чудовищные, но не в этом дело. Что за видение? Кто теперь ответит?»

«Мало ли что ему могло примерещиться с пьяных глаз, — резонно возразил Заика. — Должно быть, после спиритического откровения ваш фотограф как следует отметил свою избранность».

«Может быть, не спорю! — тряхнул головой Дож. — Я и сам вначале не придавал значения этой строке. Правда, в письме была еще приписка, адресованная мне: «Для П. Сомнений нет! Я счастлив. Прощайте и спасибо!» «Спасибо», а? Каково мне было это прочесть? Но вы послушайте, что было дальше! Через несколько дней Офелия сказала голосом Ворона: «Теперь черед того, за кем придет посланец Смерти, закутанный в белый плащ. Ждите». Я был совершенно спокоен — думал, какой еще к черту посланец. Откуда ему взяться? Но в ту же ночь, слышите вы, *в ту же ночь*, — маэстро вновь с крика перешел на шипение, — сразу двоим из соискателей было видение: во сне за ними пришел некто в белом плаще и призвал соединиться со Смертью! Один был студент, весьма мрачного, ипохондрического склада, называл себя Ликантропом. Другая, напротив, была славная, молоденькая, чистая — я думал, что у нее эта самоубийственная блажь скоро выветрится! Скажите, Фома Неверующий, часто ли бывает, чтобы двум совершенно разным людям одновременно снился один и тот же сон?»

«Да. Если упоминание о посланце в белом плаще произвело на них сильное впечатление...»

«Слишком сильное! — взмахнул руками Дож. — Ликантроп и Моретта рассказали нам о своей «удаче» на следующем же заседании. Я пытался их

переубедить. Они сделали вид, что согласны со мной и что торопиться с самоубийством не намерены, а сами вступили между собой в сговор. Они ушли из жизни вместе — но не от любви друг к другу, а от любви к Смерти... Аваддон слышал перед смертью голос какого-то Зверя. А произошедшее с Офелией и вовсе загадка. Я был с ней совсем незадолго до рокового конца. Поверьте, у нее и в мыслях не было кончать с собой. Совсем напротив...»

Он смущенно кашлянул. Я уже писал Вам, что этот старый сатир сластолюбив и охотно пользуется слепым обожанием соискательниц — они все влюблены в него. Говорят, и покойная Моретта тоже не миновала его спальни. Однако это к делу не относится.

«А наша Львица Экстаза! — продолжил он. — Сегодня эта дама шепнула мне, что «Царевич Смерть» ухаживает за ней галантней, чем кто-либо из ее многочисленных поклонников, и шлет ей чудесные дары. А ведь это известная поэтесса, много повидавшая на своем веку — не какая-нибудь глупенькая девчонка, рехнувшаяся на декадентстве».

«Массовое помешательство? — нахмурившись, предположил Заика. — Род заразной болезни? Такие случаи психиатрической науке известны. Тогда ваша затея с клубом вредна — она не рассеивает манию, а лишь концентрирует ее».

«Господи, да при чем здесь мания! Это нечто куда более страшное!»

Дож вскочил на ноги, да так неудачно, что смахнул широким рукавом стоявший на столе бокал — тот упал на пол и разлетелся вдребезги. Это маленькое происшествие придало беседе иное направление.

Нагнувшись и доставая платок, Заика посетовал: «Ваша цикута обрызгала мне гамашу». (Не помню, писал ли я Вам, что он изрядный денди и одевается по лондонской моде.)

«Что вы, какая цикута, — рассеянно пробормотал Дож, зябко пожившись. — Обычное снотворное. Выпивший мальвазею уснул бы сном праведника на бульварной скамейке. Я же анонимно, по телефону, вызвал бы медицинскую карету. В больнице вам промыли бы желудок, и дело с концом. Соискатели, да и вы сами сочли бы это обычным невезением, досужим вмешательством завистливой судьбы».

Мне показалось, что Заика еще не окончательно избавился от своих подозрений, потому что в голосе его вновь зазвучала настороженность: «Предположим, это сошло бы вам с рук. Единожды. Но что вы стали бы делать в следующий раз, когда кому-то из членов выпал бы череп?»

«Не будет никакого следующего раза. И в этот-то раз шарик угодила туда совершенно непонятным образом. Там под соседней ячейкой, где

семерка, установлен магнит. Шарик же лишь покрыт тонким слоем позолоты, а изготовлен из железа. Видели, как у Калибана он попал было на череп, а потом вдруг взял и перекатился на семерку? Странно, что в вашем случае магнит не сработал».

«Одно из двух: или магнит слишком слаб, или моя удачливость слишком сильна...» — пробормотал Заика, как бы разговаривая сам с собой, но затем обратился и к Дожу. — То, что вы говорите про злую силу, звучит невероятно. Но я давно живу на свете, и знаю, что порой случаются и невероятные вещи. Тут нужно разобраться... Вот что, господин Просперо. Продолжайте вашу деятельность, заставляйте соискателей писать стихи, щекочите им нервы своей рулеткой, только поставьте магнит посильней, чтоб не повторился сегодняшний казус. Я же, если не возражаете, понаблюдаю за вашей «злой силой».

Дож молитвенно сложил руки: «Не только не возражаю, но умоляю вас помочь мне! Я чувствую, что схожу с ума!»

«Стало быть, мы союзники. Остальным скажите, как собирались. Мол, я выпил вино, уснул на бульваре, и какой-то непрошенный доброхот вызвал медицинскую карету».

Они пожали друг другу руки, и я поспешил ретироваться в прихожую, а оттуда и на улицу.

Надо ли объяснять, какие чувства меня сейчас переполняют? Думаю, Виссарион Виссарионович, Вы согласитесь, что г-на Благовольского арестовывать не нужно. Напротив, ему ни в коем случае не следует мешать. Пусть делает свое благое дело. Сейчас «любовники» в хороших руках, а то, не дай Бог, разбредутся по одиночке, и хорошо еще если просто наложат на себя руки — могут ведь и собственные клубы самоубийц затеять.

Что же до «злой силы», то это форменная истерия, у г-на Благовольского чересчур распалилось воображение и расшалились нервы.

Ну а я, естественно, буду присматривать за этой «палатой № 6». Если, Просперо в ней главный врач, то я (ха-ха) главный *смотритель*.

Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении,

ZZ

В ночь с 4 на 5 сентября 1900.

Глава третья

I. Из газет

Лавр Жемайло

ДРУГОГО — НЕ ДАНО?

Памяти Лорелеи Рубинштейн (1860—1900)

Склоните головы те, кому дорога отечественная словесность. Уверен — вас переполняет не только скорбь, но и иное, еще более мрачное чувство: недоуменное отчаяние. Яркая звезда, озарявшая небосклон российской поэзии на протяжении последних лет, не просто угасла — она угасла трагически, упала, прочертив по нашим сердцам кровавую борозду.

Самоубийство всегда ужасно воздействует на тех, кто остался. Уходящий словно отталкивает, отвергает Божий мир и вместе с ним всех нас, в нем обретающихся. Мы более не нужны и не интересны ему. И во сто крат чудовищней, когда таким образом поступает литератор, чья связь с духовной и общественной жизнью, казалось бы, должна быть особенно крепка.

Бедная Россия! Ее Шекспиры и даты словно отмечены роковой печатью: кого не сразит пуля врага как Пушкина, Лермонтова или Марлинского, тот норовит сам свершить над собой зловеющий приговор судьбы.

Вот и еще одно звонкое имя прибавилось к мартирологу российских литераторов-самоубийц. Мы только что отметили горький юбилей — четверть века кончины графа А. К. Толстого и искрометного Василия Курочкина. Эти отравились. Благородный Гаршин бросился в пролет лестницы, отчаявшийся Николай Успенский перерезал себе горло тупым ножиком. Каждая из этих утрат словно незаживающая рана на теле нашей литературы.

И вот теперь женщина, поэтесса, которую называли «русской Сафо».

Я знал ее. Я был среди тех, кто свято верил в ее талант, расцветший в зрелом возрасте, но суливший еще столь многое.

Причина, побудившая Лорелею Рубинштейн взяться за перо в том возрасте, когда первая молодость уже осталась позади, известна: смерть от чахотки горячо обожаемого мужа, покойного М. Н. Рубинштейна, которого

многие помнят как благороднейшего и достойнейшего человека. Бездетная и лишившаяся единственного дорогого существа, Лорелея нашла спасение в поэзии. Она открыла нам, читателям, свое знойное, страдавшее сердце — открыла безоглядно и даже бесстыдно, потому что искренность и подлинное чувство не ведают стыда. Впервые в русской поэзии устами женщины так смело заговорили чувственность и страсть — естественные порывы, после смерти любимого супруга уже не находившие иного истока кроме стихов.

Провинциальные барышни и девочки-гимназистки тайком переписывали эти пряные строки в заветные альбомы. Бедняжек ругали, а подчас и наказывали за увлечение «безнравственной» поэзией, которая ничему хорошему не научит. Но что стихи! Теперь Лорелея подала романтическим, томящимся от нерастрченных чувств девицам куда более страшный и соблазнительный пример. Боюсь, что найдутся многие, кому захочется списать уже не стихи поэтессы, а ее страшный финал...

Мне достоверно известно, что она состояла среди «Любовников Смерти». Ее знали там под именем Львица Экстаза. В последние недели мне посчастливилось узнать эту поразительную женщину ближе и стать невольным свидетелем огненного падения ослепительной звезды.

Нет, я не был с нею в тот непоправимый миг, когда она приняла смертельную дозу морфия, но я видел, что она гибнет, безвозвратно гибнет. Видел — и был бессилён. Недавно она по секрету сообщила мне, что «Царевич Смерть» подает ей тайные знаки и что ей уже недолго осталось терзаться жизнью. Кажется, она сообщила об этом не мне одному, но окружающие сочли признание плодом ее неукротимой фантазии.

Увы, фантазии способны порождать фантомы: жестокосердный царевич пришел за Лорелей и увел ее от нас.

Перед тем, как переместиться из жизни в историю литературы, Львица Экстаза, как это принято у «Любовников Смерти», оставила прощальное стихотворение. Сколь мало в этих сбивчивых, нетерпеливых, окончательных строках цветистой пряности, так пленявшей почитательниц!

Ну всё, пора, меня уже зовут.
Увидимся позднее — не мешайте:
Мне надо что-то вспомнить напоследок.
Но что? Но что?
Ума не приложу.

Все спутались мысли. Всё, пора.
Что будет за последним окоёмом,
Спешу узнать.
Вперёд!

Царевич Смерть,
Приди в кроваво-красном облачении,
Подай мне руку, выведи на свет,
Где буду я стоять, простерши руки,
Как ангел, как судьба, как отражение
Себя самой.
Другого — не дано.

Каковы прощальные слова! «Другого — не дано». Вам не страшно, господа? Мне — так очень.

«Московский курьер» 7 (20) сентября 1900 г.

1-ая страница

II. Из дневника Коломбины

Ребусы

"Все-таки мне ужасно повезло, что я уйду из жизни в год, являющий собою рубеж между старым и новым веком. Я словно бы заглянула в приоткрывшуюся щелку и не увидела там ничего, заслуживающего моего внимания настолько, чтобы открыть дверь и войти. Я остановлюсь на пороге, взмахну крыльями и улечу. Ну вас с вашими синематографами, самоходными экипажами и туниками *à la gresque* (по-моему, чудовищная пошлость). Живите в двадцатом веке без меня. Уйти и не обернуться — это красиво.

Кстати о красоте. Наши очень много о ней рассуждают и даже возводят ее до высоты абсолютного мерила. Я, в сущности, придерживаюсь того же мнения, но тут вдруг задумалась: кто красивей, Просперо или Гэндзи? Они, конечно, очень разные, и каждый в своем роде эффектен. Девять женщин из десяти, вероятно, скажут, что Гэндзи «интереснее», да к тому же и много моложе (хотя он тоже сильно пожилой, лет сорок). А я без малейших колебаний предпочту Просперо, потому что он... значительнее. Когда я с Гэндзи, мне спокойно, ясно, иногда бывает и весело, но «трепет без конца» охватывает меня лишь в присутствии Дожа. В нем есть волшебство и тайна, и это весит побольше, чем внешняя красивость.

Хотя в Гэндзи, конечно, тоже немало загадочного. В течение нескольких дней он трижды сыграл со Смертью в рулетку (если считать первые два раза — на револьверном барабане) и остался жив! Поистине поразительна история с медицинской каретой, по случайности проезжавшей вдоль бульвара в тот самый момент, когда Гэндзи лишился чувств от отравленного вина!

Очевидно, все дело в том, что в этом человеке слишком много жизненной силы, а расходует он ее скупно, держит в себе.

Вчера заявил:

— Я не возьму в толк, Коломбина, с чего это вам белый свет так уж не мил? Вы молоды, здоровы, румяны, да и натурой вполне жизнерадостны, хоть и напускаете на себя inferнальность.

Я ужасно расстроилась. «Здорова, румяна» — и только? С другой стороны, как говорится, нечего на зеркало пенять. Он прав: мне не хватает

утонченности и гибельности. И все же с его стороны говорить такое было очень неделикатно.

— А вы сами? — парировала я. — Вы, помнится, так возмущались Дожем и даже грозились разогнать весь наш клуб, а сами всё ходите и даже вон травиться пытались.

Он ответил с серьезным видом:

— Я обожаю все таинственное. Тут, милая Коломбина, чересчур много загадок, а у меня от загадок начинается род чесотки — никак не успокоюсь, пока не дойду до подоплеки. — И вдруг предложил. — А знаете что? Давайте порешаем этот ребус вместе. Насколько мне известно, других занятий у вас всё равно нет. Вам это будет полезно. Глядишь, в разум войдете.

Мне не понравился его менторский тон, но я подумала про необъяснимое самоубийство Офелии, вспомнила Лорелею, без которой наши собрания словно утратили половину красок. Да и верно, сколько можно сидеть в четырех стенах, дожидаясь наступления вечера?

— Хорошо, — сказала я. — Ребус так ребус. Когда начнем?

— Да прямо завтра. Я заеду за вами в одиннадцать, а вы уж будьте любезны к этому времени состоять в полной маршевой готовности.

Не пойму одного: влюблен он в меня или нет. Если судить по сдержанно-насмешливой манере — нисколько. Но, может быть, просто интересничает? Действует в соответствии с идиотским поучением: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Мне, конечно, всё равно — ведь я люблю Просперо. А всё-таки хотелось бы знать.

Взять завтрашнюю экспедицию — зачем она ему? Вот где истинная загадка.

Ладно. Пускай г-н Гэндзи решает свой ребус, а я решу свой".

* * *

Назавтра в одиннадцать отправиться не получилось — и вовсе не из-за того, что хозяйка квартиры проспала или, скажем, не успела подготовиться. Напротив, Коломбина поджидала принца Гэндзи в совершенной готовности и полном снаряжении. Малютка Люцифер был накормлен, напоен и пущен пошуршать травкой в большом фанерном ящике, а сама Коломбина надела новый впечатляющий наряд: бедуинский бурнус с бубенчиками (полночи их пришивала).

Его японское высочество туалет вежливо похвалил, но попросил

переодеться во что-нибудь менее броское, сослался на особую деликатность миссии. Стало быть, сам и виноват, что припозднились.

Коломбина с отвращением обрядилась в иркутскую синюю юбку с белой блузкой и скромненьким серым жакетом, на голову надела берет — ни дать ни взять курсистка, только очочков не хватает. Однако Гэндзи, бескрылый человек, остался доволен.

Он пришел не один, а со своим японцем, с которым у Коломбины на сей раз состоялось формальное знакомство с бесконечными поклонами и расшаркиваниями (со стороны господина Масы). Когда Гэндзи, представляя своего Пятницу, назвал его «наблюдательным, сметливым», да еще и «бесценным помощником», азиат приосанился, надул свои гладкие щеки и сделался похож на старательно начищенный самовар.

Втроем усадились в пролетку, причем Коломбину, будто какую-нибудь королеву Викторину, подсаживали под оба локтя.

— Мы куда, к Офелии? — спросила она.

— Нет, — ответил Гэндзи, назвав извозчику знакомый адрес — Басманная, доходный дом общества «Великан». — Начнем с Аваддона. Мне не дает покоя Зверь, что завывал в ночь самоубийства.

При виде серой пятиэтажной громады девушке стало не по себе — она вспомнила железный крюк и обрезок свисавшей с него веревки. Однако Гэндзи направился не в левый подъезд, где находилась квартира покойного Никифора Сипяги, а в правый.

Поднялись на самый верх, позвонили в дверь с медной табличкой «А. Ф. Стахович, живописец». Коломбина вспомнила, что об этом человеке, соседе Аваддона, упоминал дворник, который принял Люцифера за зеленого змия.

Дверь открыл молодой человек, чуть не до самых глаз заросший огненно-рыжей бородой — вне всякого сомнения, сам живописец: в халате, сверху донизу перепачканном красками, и с потухшей трубкой в зубах.

— Тысяча извинений, Алексей Федорович, — учтиво приподнял цилиндр Гэндзи (уже и имя-отчество успел разузнать, вот какой дотошный). — Мы друзья вашего соседа, безвременно усопшего господина Сипяги. Хотим восстановить картину п-прискорбного события.

— Да, жалко студиозуса, — вздохнул Стахович, жестом приглашая войти. — Я, правда, его почти не знал. Сосед через стенку это не то что дверь в дверь. Заходите, только осторожней, у меня тут хаос.

Насчет хаоса он выразился чересчур мягко. Квартирка, в точности такая же, как у Аваддона, только зеркальной планировки, была сплошь заставлена рамами и холстами, под ногами валялся всякий мусор, пустые

бутылки, какие-то тряпки, сплюснутые тюбики из-под краски.

Комната, где у Аваддона находилась спальня, служила Стаховичу студией. Подле окна стояла недоконченная картина, которая изображала обнаженную на красном диване (тело ню было тщательно прописано, голова пока отсутствовала), а у противоположной стены располагался тот самый диван, действительно накрытый красной драпировкой, и на диване, действительно, полулежала совершенно раздетая девица. Она была курносая, конопатая, с распущенными соломенными волосами, на гостей взидала с ленивым любопытством и не сделала ни малейшей попытки прикрыться.

— Это Дашка, — кивнул на натурщицу художник. — Лежи, Дуня, не шевелись, я тебя с таким трудом разложил, как надо. Они пришли справиться насчет того дурачка из-за стенки, что повесился. Сейчас уйдут.

— А-а, — протянула Дашка, она же Дуня, шмыгнув носом. — Это который чуть что кулаком стучал, чтоб ругались потише?

— Он самый.

Тут выяснилось, что принц Гэндзи ужасно старомоден и целиком находится во власти филистерских предрассудков. При виде голой натурщицы он ужасно сконфузился, отвернул голову на сто восемьдесят градусов и стал заикаться вдвое больше обычного. Коломбина снисходительно улыбнулась: Просперо на его месте и глазом бы не моргнул.

Японец Маса, правда, тоже несколько не смутился. Уставился на лежащую девицу, одобрительно поцокал языком и изрек:

— Курасивая барысьня. Кругренькая и ноги торстые.

— Маса! — покраснел Гэндзи. — Сколько раз тебе объяснять! Перестань пялиться! У нас не Япония!

Однако Дуня репликой японца была явно польщена.

— Что вас, собственно, интересует? — спросил живописец, поочередно оглядывая каждого из посетителей прищуренным взглядом. — Я ведь и в самом деле его совсем не знал. Ни разу у него не был. Он вообще производил впечатление буки. Ни компаний, ни гулянок, ни женских голосов. Прямо отшельник.

— Он, бедненький, на личность уж очень нехорош был, вся рожа в чирях, — подала голос Дуня, почесывая локоть и глядя на Масу. — А женским полом очень даже интересовался. Бывало, встретит у подъезда, прям обшарит всю глазенками. Ему бы побойчее быть, так и понравиться бы сумел. Чирии, они от одиночества. А глаза у него были хорошие, грустные такие и цветом, как васильки.

— Помолчи, дура, — прикрикнул на нее Стахович. — Тебя послушать, все мужчины только и думают, как до твоих телес добраться. Но она права: он застенчивый был, слова не вытянешь. И, правда, очень одинокий, неприкаянный. Все бубнил что-то по вечерам. Что-то ритмичное, вроде стихов. Иногда пел, довольно немзыкально — больше малороссийские песни. Перегородки тут дощатые, каждый звук слышно.

Все стены комнаты были увешаны набросками и этюдами, по большей части изображавшими женский торс в разных ракурсах и положениях, причем при некоторой наблюдательности нетрудно было заметить, что материалом для всех этих штудий послужило тело Дашки-Дуни.

— Скажите, — поинтересовалась Коломбина. — А почему вы всё время пишете одну и ту же женщину? Это у вас стиль такой? Я читала, что в Европе теперь есть художники, которые изображают только что-нибудь одно: чашку, или цветок в вазе, или блики на стекле, стремясь достичь совершенства.

— Какое там совершенство. — Стахович повернулся, приглядываясь к любознательной барышне. — Где достать денег на других натурщиц? Взять вот к примеру вас. Вы ведь мне из одной любви к искусству позировать не станете?

Коломбине показалось, что его прищуренный взгляд проникает ей прямо под жакет, и она поежилась.

— А силуэт у вас интересный. Линия бедер просто пленительная. И груди, должно быть, грушевидные, немножко асимметричные, с большими ареолами. Я угадал?

Маша Миронова от этих слов, наверное, помертвела бы и залилась густой краской. А Коломбина не дрогнула и даже улыбнулась.

— П-позвольте, сударь, как вы смеее г-говорить подобные в-вещи! — в ужасе вскричал Гэндзи, кажется, готовый немедленно вступить за честь дамы и разорвать оскорбителя на кусочки.

Но Коломбина спасла живописца от неминуемого поединка, сказала с самым невозмутимым видом:

— Не знаю, что такое «ареолы», но уверяю вас, груди у меня совершенно симметричные. А насчет грушевидности вы не ошиблись.

Наступила короткая пауза. Художник рассматривал талию смелой девицы, Гэндзи утирал лоб батистовым платком, Маса же подошел к натурщице и протянул ей вынутый из кармана леденец в зеленой бумажке.

— Ландриновый? — спросила Дашка-Дуня. — Мерси.

Коломбине представилось, как Стахович, ставший мировой знаменитостью, приезжает в Иркутск с выставкой. Главное из полотен —

ню «Соблазненная Коломбина». То-то скандал будет. Пожалуй, об этом стоило подумать.

Однако художник смотрел уже не на нее, а на японца.

— Какое потрясающее лицо! — воскликнул Стахович и в волнении потер руки. — И не сразу разглядишь! Сколько блеска в глазах, а эти складки! Чингис-хан! Тамерлан! Послушайте, сударь, я должен непременно написать ваш портрет!

Коломбина была задета: значит, у нее интересен только силуэт, а этот сопящий азиат у него Тамерлан? Гэндзи тоже уставился на своего камердинера с некоторым изумлением, а Маса нисколько не удивился — только повернулся боком, чтобы художник смог оценить и его приплюснутый профиль.

Гэндзи осторожно взял живописца за рукав:

— Господин Стахович, мы пришли сюда не для того, чтобы вам позировать. Дворник рассказывал, что в ночь самоубийства вы вроде бы слышали из-за стены какие-то необычные звуки. Постарайтесь описать их как можно подробнее.

— Такое не скоро забудешь! Ночка была ненастная, за окнами ветер завывал, деревья трещали, а всё равно слышно было. — Художник почесал в затылке, припоминая. — Значит, так. Домой он вернулся перед полночью — ужасно громко хлопнул входной дверью, чего раньше за ним не водилось.

— Точно! — встряла Дашка-Дуня. — Я тебе еще сказала: «Напился. Теперь и девок водить начнет». Помнишь?

Гэндзи смущенно покосился на Коломбину, чем очень ее насмешил. За нравственность ее опасается, что ли? И так понятно, что Дашка здесь не только дни проводит, но и ночи.

— Да, именно так ты и сказала, — подтвердил художник. — Мы ложимся поздно. Я работаю, Дуня картинки в журналах смотрит, ждет, пока я закончу. Этот, за стенкой, топал, метался по комнате, бормотал что-то. Пару раз расхохотался, потом зарыдал — в общем, был не в себе. А потом, уж далеко полночь, вдруг началось. Вой — жуткий такой, с перерывами. Я ничего подобного в жизни не слыхивал. Сначала подумал — он пса приبلудного привел. Нет, вроде непохоже. Потом вообразил, что сосед с ума спятил и воет, но человек такие звуки извлекать не может. Это было что-то утробное, гулкое, но при этом членораздельное. Будто выпевали что-то, какое-то слово, снова и снова. И так два, три, четыре часа подряд.

— У-ииии! У-ииии! — густым басом завывала Дашка-Дуня. — Да, Сашура? Прямо жуть! У-иии!

— Вот-вот, похоже, — кивнул художник. — Только громче и, в самом деле, как-то очень жутко. Пожалуй, не «у-иии», а «умм-иии». Сначала низко так — «уммм», а потом выше — «иии». У нас тут тоже шумно бывает, поэтому мы сначала ничего, терпели. А когда спать улеглись, это уже часу в четвертом, немоготу стало. Стучу ему в стенку, кричу: «Эй, студент, что за концерт?» Никакого ответа. Так и выло до самого рассвета.

— Как вспомню, мороз по коже, — пожаловалась натурщица стоявшему рядом Масае, и он успокаивающе погладил ее по голому плечу, после чего свою ладошку с плеча так и не убрал. Дашка-Дуня, впрочем, не возражала.

— Это всё? — задумчиво спросил Гэндзи.

— Всё, — пожал плечами Стахович, удивленно наблюдая за Масиными маневрами.

— Б-благодарю, прощайте. Сударыня.

Гэндзи поклонился натурщице и стремительно направился к выходу — Коломбина с Масой кинулись следом.

— Почему вы не стали его больше ни о чем расспрашивать? — накинулась она на Гэндзи, уже на лестнице. — Он только-только начал говорить про интересное!

— Самое интересное он нам уже сообщил. Это раз, — ответил Гэндзи. — Больше мы от него ничего существенного не узнали бы. Это два. Еще минута, и мог бы разразиться скандал, потому что кое-кто вел себя чересчур нахально. Это три.

Дальше он заговорил на какой-то тарабарщине — очевидно, японски, потому что Маса отлично его понял и затарабанил что-то в ответ. Судя по интонации, оправдывался.

Уже на улице Коломбину вдруг как громом ударило.

— Голос! — закричала она. — Но ведь и Офелия во время сеанса поминала о каком-то голосе! Помните, когда она общалась с духом Аваддона!

— Помню, помню, не кричите так, на вас оглядываются, — сказал Гэндзи, блюстителю пристойности. — А вы поняли, что именно выпевал этот голос? К чему призывал он Аваддона? Да так, что сомнений не осталось — это и есть Знак.

Она попробовала тихонько повить:

— Уммм-ииии, умм-ииии.

Представила глухую ночь, бурю за окном, трепещущий огонек свечи, белый листок бумаги с косыми строчками. Господи Боже!

— Умммрииии, умммрииии... Ой!

— То-то что «ой!» Только представьте: страшный, н-нечеловеческий голос, беспрерывно повторяющий: «Умри, умри, умри», и так час за часом. А перед тем, на сеансе, Аваддон напрямую был назван избранником. Чего уж еще? Пиши прощальное стихотворение да лезь в п-петлю.

Коломбина остановилась, зажмурила глаза, чтобы запомнить это мгновение навсегда. Мгновение, когда Чудесное вошло в ее жизнь со всей очевидностью проверенного научного факта. Одно дело — грезить о Вечном Суженом, так и не будучи до конца уверенной, что он на самом деле существует. И совсем другое — *знать*, знать наверняка.

— Смерть живая, она всё видит и слышит, она рядом! — прошептала Коломбина. — И Просперо — Ее слугитель! Всё чистая правда! Это не плод фантазии, не галлюцинация! Ведь даже соседи слышали!

Мостовая закачалась у нее под ногами. Перепуганная барышня зажмурилась, схватила Гэндзи за руку, зная, что потом будет сердиться на себя за слабость и глупую впечатлительность. Ну конечно, Смерть — мыслящее и чувствующее существо, как же иначе!

Оправилась довольно быстро. Даже засмеялась:

— Правда, замечательно, что вокруг нас так много странного?

Хорошая вышла фраза, эффектная, да и взглянула она на Гэндзи правильно: чуть откинув назад голову и до половины опустив ресницы.

Жалко только, тот смотрел не на Коломбину, а куда-то в сторону.

— М-да, странного много, — пробормотал он, едва ли расслышав толком ее слова. — «Умри, умри» — это впечатляет. Но есть одно обстоятельство, еще более удивительное.

— Какое?

— Разве не удивительно, что голос завывал до самого рассвета?

— Ну и что? — подумав, спросила Коломбина.

— Аваддон повесился не позже трех часов ночи. Ведь когда Стахович в четвертом часу стал настойчиво колотить в стену, ответа уже не было. Да и результаты вскрытия указывают, что смерть произошла около т-трех. Если Зверь был послан Смертью призвать любовника, то зачем надрываться до самого рассвета? Ведь призванный уже прибыл?

— Может быть, Зверь его оплакивал? — неуверенно предположила Коломбина.

Гэндзи посмотрел на нее с укоризной:

— С его, звериной, точки зрения, следовало бы не плакать, а радоваться. И потом: человек уже давно умер, а Зверь все нудит: «Умри, умри». Какой-то т-туповатый у Смерти посланец, не находите?

Да, таинственного и непонятного в этой истории много, подумала

Коломбина. И, главное: зачем всё-таки, сударь, вы взяли меня с собой?
Голубые глаза принца смотрели на нее приязненно, но без подоплеки.
Одно слово — ребус.

Страхнув с ресниц хрустальную слезинку

С Басманной долго ехали мимо каких-то больниц и казарм, постройки понемногу съезживались, улицы из каменных превратились в деревянные, и в конце концов начался совсем деревенский пейзаж. Впрочем, Коломбина мало смотрела по сторонам, всё еще находясь под впечатлением от явленного ей откровения. Ее спутники тоже молчали.

Но вот коляска остановилась посреди пыльной немощеной улицы, застроенной одноэтажными домиками. С одной стороны, в проходе между двумя дощатыми заборами, виднелся обрывистый берег речки или неширокого оврага.

— Где это мы? — спросила Коломбина.

— На Яузе, — ответил Гэндзи, спрыгивая с подножки. — По описанию, вон д-дом, который нам нужен. Здесь жила Офелия, то есть, собственно, Александра Синичкина.

Коломбина поневоле улыбнулась смешной фамилии. Александра Синичкина — это еще хуже, чем Мария Миронова. Немудрено, что девочке захотелось назваться Офелией.

Та, что была оракулом «Любовников Смерти», оказывается, жила в чистеньком доме в четыре окна, с белыми ставнями, вышитыми занавесками и цветами на подоконниках; за домом зеленел пышный яблоневый сад, было видно, как ветки сгибаются под тяжестью золотисто-красных плодов.

На стук вышла аккуратная старушка лет сорока пяти, вся в черном.

— Её мать, — вполголоса разъяснил Гэндзи, пока старушка шла к калитке. — Вдова губернского секретаря. Жили с дочерью вдвоем.

Мать Офелии подошла ближе. Глаза у нее оказались светлые и ясные, как у дочери, только с воспаленными красными веками. Это от слез, догадалась Коломбина, и у нее защипало в носу. Поди-ка объясни бедной женщине, что произошедшее — никакое не горе, а наоборот высшее счастье. Ни за что не поверит.

— Здравствуйте, Серафима Харитоньевна, — поклонился Гэндзи. — П-простите, что беспокоим вас. Мы знали Александру Ивановну...

Он запнулся, очевидно, не зная, как представиться. Не японским же

принцем. Но представляться не понадобилось.

Вдова открыла калитку, всхлипнула.

— Так вы знали мою Сашеньку? Значит, все-таки были у нее друзья? Вот спасибо, что приехали проведать, а то сижу тут одна-одинешенька, словом перемолвиться не с кем. У меня и самовар готов. Родственников у нас нету, а соседи не заходят, нос воротят. Как же — самоубийца, позор на всю улицу.

Хозяйка провела гостей в маленькую столовую, где на стульях были вышитые чехольчики, на стене висел портрет какого-то архиерея, а в углу тикали старинные часы. Видно, и вправду истосковалась по людям, потому что сразу начала говорить, говорить и уже почти не останавливалась. Разлила по чашкам чаю, но сама не пила — лишь водила пальцем по краю полной чашки.

— Пока Сашенька жива была, тут посетительниц хватало, всем моя доченька нужна была. Кому на свечном воске погадать, кому головную боль снять, кому порчу отвести. Сашенька всё могла. Даже сказать, жив ли суженый в дальней стороне или нет. И всё от чистого сердца, никаких подношений не брала, говорила — нельзя.

— Это у нее дар такой был? — соболезнующе спросила Коломбина. — От самого рождения?

— Нет, милая барышня, не от рождения. Она в младенчестве слабенькая была, всё хворала. Мне Господь деток надолго не давал. Подарит на годик, на два, много на четыре, а после приберет. Шестерых я так похоронила, а Сашенька самая младшенькая была. Я всё нарадоваться не могла, что она на свете прижилась. Болеет, а живет — и пять годков, и шесть, и семь. Мне каждый лишний день как праздник был, всё Бога славил. А в Троицын день, как Сашеньке на восьмой годок идти, случилось истинное Божье чудо...

Серафима Харитоньевна замолчала, вытерла слезу.

— Тюдо? Какое такое «бозье тюдо»? — поторопил ее Маса, слушавший с интересом — даже из блюда хлюпать перестал и надкушенный пряник отложил.

— Молния ударила в дерево, где она и еще двое соседских ребятишек от дождя прятались. Кто видел, сказывали: треск, дым синий, мальчики те бедные замертво повалились, а моя Сашенька застыла без движения, пальцы растопырила, и с кончиков искры сыплются. Три дня без чувств пролежала, а потом вдруг очнулась. Я у кровати сидела, за всё время ни маковой росинки в рот не брала, только Заступнице молилась. Открывает Сашенька глазки, и такие они ясные, прозрачные, как у Божьего ангела. И

ничего — встала да пошла. Мало того, что жива, так еще с того дня хворать перестала, совсем. Но и этого дара Господу мало показалось, решил Он в милости Своей Сашеньку от всех особенной сделать. Я сначала пугалась, а после привыкла. Уж знаю: если у дочки глаза прозрачные делаются, значит, не в себе она — видит и слышит то, чего обыкновенным людям не положено. В такие минуты она много чего могла. Раз, в позапрошлый год, у нас тут мальчонка-трехлеток пропал, никак отыскать не могли. А Сашенька посидела-посидела, губами пошевелила и говорит: «В старом колодце ищите». И нашли, живого, только со сломанной ручкой. Вот она какая была. И разговоры все о чудесном, да загадочном. У ней в комнате книжек целый шкаф. Там и сказки, и гадания, и романы про разных фей с колдуньями.

Тут мать Офелии взглянула на Коломбину.

— А вы подружка ее? Какая славная. И одеваетесь скромно, не то что нынешние. Да вы не плачьте. Я сама поплакала, да и перестала. Чего ж плакать. Сашенька теперь на небесах, что бы отец Иннокентий про самоубийц ни толковал.

Здесь уж Коломбина разревелась по всей форме. Так стало жалко и Офелию, и ее пропавшего чудесного дара — мочи нет.

Ничего, сказала себе разнюнившаяся смертепоклонница, пряча от Гэндзи покрасневшие глаза и сморкаясь в платок. В дневнике опишу всё по-другому. Чтоб не выглядеть дурой. Например, вот так: «У Коломбины на глазах сверкнула хрустальная слезинка, но ветреница тряхнула головой, и слезинка слетела. Нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы печалиться долее одной минуты. Офелия поступила так, как сочла правильным. Хрустальная слезинка посвящалась не ей, а бедной старушке». И еще стихотворение можно написать. Первая строчка сложилась сама собой:

Стряхнув с ресниц хрустальную слезинку

— Расскажите, что случилось в ту ночь, — попросил Гэндзи, деликатно отвернувшись от Коломбины. — Отчего она вдруг побежала топиться?

— Да ничего такого и не было. — Чиновница развела руками. — Приехала она поздно, позже обычного. Сашенька у меня вольно жила. Знала я, что ничего скверного она не сделает. Она часто поздно возвращалась, чуть не всякий день, но я ее обязательно дожидалась. И

расспросами, где была да что делала, никогда ей не докучала. Захочет — сама расскажет. Она ведь особенная была, не такая, как другие девушки. Сижу, жду ее, и самовар наготове. Сашенька кушала мало, как воробышек, а чай любила, с липовым цветом... Стало быть, слышу — извозчик подкатил. А через минуту и она вошла. Лицо всё светится — никогда ее такой не видала. Ну тут уж я не выдержала, давай допытываться: «Что с тобой? Снова чудо какое? Или влюбилась?» «Не спрашивайте, мама», — говорит. Только я-то ее хорошо знаю, да и на свете не первый год живу. Видно мне: свидание у ней было, любовное. Страшно мне стало, но и радостно тоже.

Коломбина вздрогнула, вспомнив тот вечер, — как Просперо после сеанса велел Офелии остаться. О, мучитель! Тиран бедных кукол! Хотя что же ревновать к покойнице? Да и вообще ревность — чувство пошлое, недостойное. Если у тебя много соперниц, значит, ты выбрала достойный предмет любви, сказала себе она и вдруг задумалась: а кто, собственно, предмет ее любви — Просперо или Смерть? Неважно. Попыталась вообразить себе Вечного Жениха, и он предстал перед ней не юным Царевичем, а убеленным сединами старцем со строгим лицом и черными глазами.

— Чаю выпила всего одну чашку, — продолжала рассказывать губернская секретарша. — Потом встала вот тут, перед зеркалом, чего отродясь не бывало. Повертелась и так, и этак. Засмеялась тихонько и к себе пошла. Минуты не миновало — выходит обратно, даже башмаки переменить не успела. И лицо то самое, особенное. А глаза будто две льдинки прозрачные. Я перепугалась. «Что, — говорю, — что такое?» Она мне: «Прощайте, маменька. Ухожу я. — И уже не здесь она, далеко, и на меня не смотрит. — Знак мне дан». Я кинулась к ней, держу за руку, все в толк не возьму: «Куда ночью-то? И какой такой знак?» Сашенька улыбнулась и говорит: «Такой знак, что не спутаешь. Как царю Валтасару. Видно, судьба. Я привыкла ее слушать. Пустите. Тут уж ничего не поделаешь. — Повернулась ко мне, посмотрела ласково. — И не прощайте, а до свидания. Мы непременно свидимся». Очень уж спокойно она это сказала. Я, дура, ручку-то ее и отпустила. А Сашенька поцеловала меня в щеку, накинула платок и за дверь. Задержать бы ее, остановить, да только не привыкла я ей перечить, когда она в своем особенном образе состояла... Наружу за ней я не выходила. Уже потом, по следам ее каблучков разобрала: она прямо из сеней вышла в сад, да к речке, да сразу в воду... Даже не остановилась ни разу. Будто ждали ее там.

Гэндзи быстро спросил:

— Когда она вышла, вы в комнату к ней не заходили?

— Нет. Сидела тут до самого утра, ждала.

— А утром?

— Нет. Два дня туда не входила, то в полицию бегала, то у ворот маялась. К речке невдомек было сходить... Это уж потом, когда из мертвецкой, с опознания, сюда вернулась, вот тогда прибрала у нее. И не хожу туда больше. Пусть всё как при ней будет.

— Можно заглянуть? — попросил Гэндзи. — Хотя бы через п-порог? Входить не будем.

Комната у Офелии оказалась простенькая, но уютная. Узкая кровать с металлическими шарами, на ней горка подушек. Туалетный столик, на котором кроме гребня да ручного зеркала ничего не было. Старый шкаф темного дерева, весь набитый книгами. У окна небольшой письменный стол с подсвечником.

— Свеськи, — сказал японец.

Коломбина закатила глаза, решив, что сын Востока простодушно проговаривает вслух всё, что видит — читала, что есть у незамысловатых народов такая привычка. Сейчас скажет: «Стол. Кровать. Окно». Но Маса покосился на своего господина и снова повторил:

— Свеськи.

— Да-да, вижу, — кивнул тот. — Молодец. Скажите, Серафима Харитоньевна, вы что, вставили в канделябр новые свечи?

— Не вставляла я. Они нетронутые были.

— Значит, когда ваша дочь сюда вошла, огня она так и не з-зажгла?

— Выходит, что так. Я всё, как при ней, оставила, ничего не потревожила. Книжка вон на подоконнике раскрытая лежит — пускай так и будет. Туфельки ее домашние под кроватью. Стакан с грушевым взваром — она любила. Может, душа ее когда-никогда заглянет сюда передохнуть... Некуда ведь душе-то Сашенькиной приткнуться. Не разрешил отец Иннокентий в освященной земле тело схоронить. Закопали мою девочку за оградой, как собачонку. И крест ставить не позволил. Говорит, дочь ваша — грешница непрощаемая. А какая она грешница? Она ангел была. Побывала на земле малое время, порадовала меня и отлетела обратно.

Когда шли назад, к коляске, и потом ехали по окутанным предвечерними тенями улицам, Маса сердито бурчал что-то на своем клекочущем наречии и все никак не умолкал.

— Что это он вдруг разучился говорить по-нашему? — шепотом спросила Коломбина.

Гэндзи сказал:

— Из деликатности. Чтобы не оскорблять ваших религиозных чувств. Ругает последними словами христианскую ц-церковь за варварское отношение к самоубийцам и их родственникам. И он совершенно прав.

Черные розы

У входа во флигель на Поварской, где еще три дня назад проживала Лорелея Рубинштейн, лежали целые груды цветов — прямо на тротуаре. Преобладали черные розы, воспетые поэтессой в одном из предсмертных стихотворений — том самом, которое она впервые прочитала на вечере у Просперо, а вскоре вслед за тем напечатала в «Приюте муз». Среди букетов белели записочки. Коломбина вынула одну, развернула. Мелким девичьим почерком там было написано:

Ты покинула нас, Лорелея,
Указав и проторив путь.
Буду грезить, твой образ лелея,
Чтобы в ночь за тобой шагнуть.
Т. Р.

Взяла другую. Прочла: «О, как ты права, милая, милая! Жизнь пошла и невыносима! Оля З.».

Гэндзи тоже прочел, глядя спутнице через плечо. Насупил черные, изящно очерченные брови. Вздыхнул. Решительно позвонил в медный колокольчик.

Открыла пожухлая дама с боязливым, плаксивым личиком, беспрестанно вытиравшая платком мокрый красный носик. Назвалась Розалией Максимовной, родственницей «бедной Лялечки», однако из дальнейшего разговора стало ясно, что при Лорелее она состояла на положении не то экономки, не то просто приживалки.

С нею Гэндзи вел себя совсем не так, как с матерью Офелии — был сух и деловит. Маса же вовсе не раскрывал рта — как сел за стол, так и не шевелился, только смотрел на Розалию Максимовну в упор своими щелочками.

Жалковатая особа взирала на строгого господина в черном сюртуке и молчаливого азиата с испугом и подобострастием. На вопросы отвечала пространно, с массой подробностей, так что время от времени Гэндзи был

вынужден возвращать ее к нужной теме. Розалия Максимовна всякий раз сбивалась и начинала беспомощно хлопать глазами. Кроме того, беседе ужасно мешала собачонка — злобный карликовый бульдог, который непрерывно тявкал на Масу и всё норовил вцепиться ему в штанину.

— Давно ли вы живете с госпожой Рубинштейн? — вот первое, что спросил Гэндзи.

Оказалось, что уже семь лет, после того, как Лорелея (которую дама именovala то «Лялечкой», то «Еленой Семеновной») овдовела.

На вопрос, предпринимала ли усопшая попытки наложить на себя руки прежде, ответ получился очень длинным и путаным.

— Лялечка раньше совсем не такая была. Веселая, смеялась много. Очень уж Матвея Натановича любила. Они легко жили, счастливо. Детей не завели — все по театрам, да по журфиксам, на курорты часто ездили, и в Париж, и еще в разные заграничные места. А как Матвей Натанович умер, она, бедняжка, будто умом тронулась. Даже травилась, — шепотом сообщила Розалия Максимовна, — но в тот раз не до смерти. А потом ничего, вроде как привыкла. Только на характер стала совсем-совсем другая. Стихи начала сочинять, ну и вообще... будто немножко не в себе сделалась. Если б не я, то и не кушала бы, как следует, все один кофей бы пила. Думаете, легко мне было при Елене Семеновне хозяйство вести? Все деньги, что от Матвея Натановича остались, она ему на памятник потратила. За стихи ей сначала платили пустяки, потом всё лучше и лучше, да что толку? Лялечка что ни день на кладбище десятирублевые венки слала, а дома иной раз и куска хлеба нет. Я ей сколько говорила: «Откладывать надо, на черный день». Да разве она послушает! А теперь вот и нет ничего. Она умерла, а мне на что прикажете жить? И за квартиру только до первого числа уплачено. Съезжать надо, да только куда? — Она прикрыла платком лицо, завсхлипывала. — Жу... Жужечка привыкла хорошо кушать — печеночку, косточки мозговые, творожок... Кому мы с ней теперь нужны? Ах, простите, я сейчас...

И, плача навзрыд, выбежала из комнаты.

— Маса, как тебе удалось з-заставить собачку умолкнуть? — спросил Гэндзи. — Большое спасибо, она мне очень мешала.

Коломбина только теперь заметила, что на протяжении всего монолога, с учетом сморканий и всхлипываний изрядно растянувшегося, бульдог и в самом деле не лаял, а лишь злобно похрюкивал под столом.

Маса ровным голосом ответил:

— Собатка морчит, потому съто кушает мою ногу. Гаспадзин, вы спросири узе всё съто нузьно? Есри нет, я могу почерпечь есё.

Заглянув под стол, Коломбина ахнула. Подлая тварь вцепилась бедному Маса в лодыжку и, свирепо урча, трясла своей лобастой башкой! То-то японец выглядел бледноватым, да и улыбался вымученно! Настоящий герой! Просто спартанский мальчик с лисенком!

— О господи, Маса, — вздохнул Гэндзи. — Это уж слишком.

Быстро наклонился и стиснул собачонке двумя пальцами нос. Малютка фыркнул и тут же разжал челюсти. Тогда Гэндзи взял его за шиворот и удивительно точным броском выкинул в прихожую. Донесся визг, истеричное тьяканье, но вернуться в комнату мучитель не посмел.

Тут как раз вошла немного успокоившаяся Розалия Максимовна, но Гэндзи уже принял непринужденную позу: немного откинулся на спинку стула, пальцы самым невинным образом сцепил на животе.

— Где Жужечка? — спросила Розалия Максимовна осипшим от рыданий голосом.

— Вы еще не рассказали нам, что п-произошло в тот вечер, — строго напомнил Гэндзи, и приживалка испуганно заморгала.

— Я сидела в гостиной, читала «Домашний лекарь», Лялечка мне выписывает. Она как раз перед тем вернулась откуда-то и пошла к себе в будуар. Вдруг вбегает, глаза горят, на щеках румянец. «Тетя Роза!» Я перепугалась, думала пожар или мышь. А Лялечка как закричит: «Последний знак, третий! Он любит меня! Любит! Сомнений больше нет. К нему, к царевичу! Матюша заждался». Потом глаза рукой вот так прикрыла и тихонько говорит: «Всё, отмучилась. Ныне отпускаеши. Хватит шутиху из себя корчить». Я ничего не поняла. У Елены Семеновны ведь не разберешь, на самом деле что-то случилось или так, нафантазировала. «Который, — спрашиваю, — любит? Фердинанд Карлович, Сергей Полуэктович или тот уса́тый, что с букетом вчера приезжал?» У нее поклонников много было, всех не упомнишь. Только она их в грош не ставила, поэтому мне ее восторги странными показались. «Может, — говорю, — кто-то совсем другой объявился, новый?» А Лялечка смеется, и вид у ней такой счастливый, впервые за столько лет. «Другой, — говорит, — тетечка Роза. Совсем другой. Главный и единственный... Я спать иду. Не входите ко мне до утра, что бы ни случилось». И ушла. Утром вхожу, а она лежит на постели в белом платье и сама вся тоже белая...

Розалия Максимовна снова расплакалась, но теперь уже выбегать из комнаты не стала.

— Как дальше жить? Не подумала обо мне Лялечка, ни гроша не оставила. И обстановку не продашь — хозяйская...

— Покажите, где будуар Елены Семеновны, — сказал Гэндзи,

поднимаясь.

Спальня Лорелеи разительно отличалась от простенькой комнаты Офелии. Тут были и китайские вазы в человеческий рост, и расписные японские ширмы, и роскошный туалетный столик с мириадами пузырьков, баночек, тюбиков перед тройным зеркалом, и много всякого другого.

Над пышным ложем висели два портрета. Один самый обычный — фотография бородатого мужчины в пенсне (очевидно, это и был покойный Матвей Натанович), а вот второе изображение Коломбину заинтриговало: смуглый красавец в кроваво-красном одеянии, с огромными полузакрытыми глазами восседал на черном буйволе; в руках он держал дубинку и петлю, а к ногам буйвола жались два устрашающих четырехглазых пса.

Гэндзи тоже подошел к литографии, но заинтересовался не ею, а тремя мертвыми черными розами, положенными сверху на раму. Одна была еще не вполне увядшей, другая изрядно пожухла, а третья совсем высохла.

— Господи, это еще кто такой? — спросила Коломбина, разглядывая картину.

— Индийский бог смерти Яма, он же Царь Мертвых, — рассеянно ответил Гэндзи, в упор глядя на позолоченную раму. — Глазастые псы высматривают добычу среди живущих, а петля нужна Яме, чтоб выдергивать из человека душу.

— «Царевич Смерть, приди в кроваво-красном облачении, подай мне руку, выведи на свет», — прочла Коломбина строки из последнего стихотворения Лорелеи. — Вот кого она имела в виду!

Но Гэндзи не оценил ее проницательности.

— Что за розы? — обернулся он к приживалке. — От кого?

— Это... — Она часто-часто замигала. — Разве упомнишь? Мало ли Лялечке цветов дарили? Ах да, вспомнила! Это она в последний вечер букетик принесла.

— Уверены?

Коломбине показалось, что Гэндзи слишком суров с бедной старушкой. Та вжала голову в плечи, пролепетала:

— Принесла, она сама принесла.

Кажется, он хотел спросить что-то еще, но взглянул на свою спутницу и, очевидно, понял, что она не одобряет его манер. Смиловившись над несчастной, оставил ее в покое.

— Благодарю вас, сударыня. Вы нам очень помогли.

Японец поклонился церемонно, в пояс.

Коломбина заметила, как, проходя мимо стола, Гэндзи незаметно

положил на скатерть купюру. Устыдился? То-то.

Экспедиция была закончена. Коломбине так и не удалось установить, влюблен ли в нее Гэндзи, но на обратном пути она думала не об этом. Вдруг сделалось невыносимо грустно.

Она представила, что будет с папой и мамой, когда они узнают, что ее больше нет. Наверное, будут плакать, жалеть дочку, а после скажут, как мать Офелии: «Побыла на земле малое время и отлетела». Но им легче, чем Серафиме Харитоньевне, у них остаются еще сыновья, Сережа с Мишей. Они не такие, как я, утешала себя Коломбина. Их не подхватит шальной восточный ветер, не унесет на закат, навстречу гибели.

Так разжалобилась, что слезы потекли ручьем.

— Ну, как вам экскурсия? — спросил Гэндзи, посмотрев на мокрое лицо спутницы. — Может, все-таки поживете еще?

Она вытерла глаза, повернулась и расхохоталась ему в лицо. Сказала:

— Может, да, а может, нет.

Возле дома выскочила из коляски, небрежно махнула рукой и, легко постукивая каблучками, вбежала в подъезд.

Села за стол, не сняв берета. Обмакнула ручку в чернильницу и написала стихотворение. Получилось белым стихом, как у Лорелеи. И почему-то в народном стиле — из-за старушки-чиновницы, что ли?

Нет, не белой простыней — черным бархатом
Ложь брачное мое позастелено.
Ложь узкое, деревянное,
Всё в цветах — хризантемах и лилиях.

Что ж вы, гости дорогие, запечалились?
Что слезинки с лиц утираете?
Полюбуйтесь лучше, как светятся
Под венцом черты мои тонкие.

Ах вы, бедные, убогие, незрячие,
Вы всмотритесь-ка и увидите:
На постели, свечами обставленной,
Возлежит со мной рядом возлюбленный.

Как прекрасен его облик божественный!
Как мерцают глаза его звездные!
Его легкие пальцы так ласковы!

Хорошо мне с тобою, мой суженый.

Интересно, что скажет про стихотворение Просперо?

III. Из папки «Агентурные донесения»

Его высокоблагородию подполковнику Бесикову

(В собственные руки)

Милостивый государь Виссарион Виссарионович!

Я всегда знал, что, помогая Вам, занимаюсь делом рискованным и опасным — как для моей репутации порядочного человека, так, возможно, и для самой жизни. Сегодня мои худшие опасения подтвердились. Право, не знаю, что сейчас терзает меня больше — физические страдания или горькое осознание того, как мало Вы цените мою самоотверженность и мои усилия.

Я с возмущением отвергаю Ваше повторное предложение «щедро оплачивать мои расходы», хотя вряд ли кто-либо из Ваших самых высокооплачиваемых «сотрудников» проявляет столько рвения и преданности делу, как Ваш покорный слуга. Впрочем, моя бескорыстная щепетильность не меняет сути дела — Вы все равно фактически превратили меня из идейного борца с нигилизмом и бесовщиной в вульгарного соглядатая!

А Вам не приходило в голову, дражайший Виссарион Виссарионович, что Вы меня недооцениваете? Вы считаете меня пешкой в Вашей игре, в то время как я, возможно, фигура совсем иного калибра!

Шучу, шучу. Где уж нам, зернышкам, попавшим между жерновами, до небес дорасти? И все же поделкатней со мной следовало бы, поцеремонней. Я ведь человек интеллигентный, к тому же европейского замеса. Не сочтите это выпадом в Ваш адрес или лютеранским высокомерием. Я всего лишь хочу напомнить Вам, что для «немца-перца-колбасы» цирлихи-манирлихи значат больше, чем для русака. Вы, впрочем, тоже не русак, а кавказец, ну да это сути дела не меняет.

Перечитал написанное и стало тошно от самого себя. Как Вас, верно, потешают мои стремительные переходы от сладострастного самоуничижения к гордой чопорности!

Ах, неважно, неважно. Главное — помните: что русскому хорошо, то немцу смерть.

Кстати, о смерти.

Из полученной от Вас последней инструкции мне стало ясно, что судьбы бедных «Любовников Смерти», обретающихся на пороге бездны, Вас теперь не очень-то и заботят. Куда больше интереса Вы проявили к одному из членов клуба, которого в предыдущих донесениях я окрестил Заикой. У меня возникло ощущение, что Вы знаете об этом человеке гораздо больше, чем я. Чем он Вас так заинтриговал? Не поверили же Вы, в самом деле, в существование тайной организации под названием «Любовники Жизни»? И что это за «очень высокое лицо», личную просьбу которого Вы исполняете? Кто из Ваших начальников заинтересовался этим человеком?

Как бы там ни было, я послушно выполнил Ваше странное поручение, хоть Вы и не удосужились даже разъяснить мне его подоплеку. Я проследил за Заикой, и если не сумел установить места его жительства, то, как Вы увидите, не по своей вине.

Нет, это все же совершенно возмутительно! Почему бы Вам не приставить к Заике собственных филеров? Вы пишете, что он не преступник «в строгом смысле слова», но когда это обстоятельство служило препятствием для Вас и Вам подобных? Или же Ваше нежелание приставить к Заике штатных агентов объясняется тем, что у него, как Вы туманно сообщаете, «слишком много доброжелателей в самых неожиданных местах». Неужто и в Жандармском управлении? Вы опасаетесь, что кто-то из Ваших же коллег может оповестить Заику о слежке? Да кто он в конце концов такой, этот человек, если даже Вы так осторожничаете? Почему я должен бродить в потемках? Я самым решительным образом требую объяснений! Особенно после чудовищного инцидента, жертвой которого я стал по Вашей милости.

Тем не менее, представляю Вам мой отчет. Не знаю, извлечете ли Вы из него какую-нибудь пользу. От собственных комментариев воздерживаюсь, ибо сам я мало что понял — излагаю одни только факты.

Вчера был очередной сеанс игры в Рулетку Смерти, опять закончившийся ничем (надо полагать, что Благовольский установил-таки более сильный магнит). У нас новые члены вместо выбывших Офелии и Львицы Экстаза, две молоденькие барышни. После самоубийства Лорелеи Рубинштейн московские девицы просто с ума сошли — количество желающих вступить в таинственный клуб самоубийц многократно возросло, за что следует благодарить падкую до мертвечины прессу. Самые настойчивые из этих взбалмошных особ достигают цели. Нынче Просперо представил нам Ифигению и Горгону. Первая — пухленькая курсистка с золотыми пушистыми волосами, очень миловидная и очень глупенькая.

Прочла стишок про малолетнего утопленника: «Малютка бедненький утоп, его кладут в дубовый гроб» или что-то в этом роде. Почему этакую овцу тянет в объятья смерти — загадка. Вторая — нервная брюнетка с резкими чертами, пишет дерганные и весьма непристойные стихи, хотя сама наверняка еще девственница. Впрочем, наш сластолюбивый дож это скоро поправит.

Гдлевский читал новые стихи. Просперо прав — он настоящий гений, надежда новой русской поэзии. Впрочем, Вы ведь, кажется, поэзией не интересуетесь. Тут, собственно, примечательно другое. Гдлевский в последнее время пребывает в постоянном возбуждении. Я Вам как-то уже писал, что он в буквальном смысле помешан на мистике рифмических созвучий. Он вычитал в каком-то спиритическом трактате, что общение с Потусторонним Миром возможно только по пятницам и потому этот день недели особенный. Каждое событие, происходящее в пятницу, имеет магическое значение и представляет собой послание, знак, надо только уметь его расшифровать. Вот Гдлевский из всех сил и расшифровывает. Началось с того, что в прошлую пятницу он объявил, что погадает на рифму. Взял с полки первую попавшуюся книгу, открыл, ткнул пальцем и попал в слово «жердь». Пришел в неопишемую ажитацию, все повторял: «жердь — смерть, жердь — смерть». Поскольку нынче тоже была пятница, он, едва поздоровавшись, схватил со стола лежавшую там книгу, открыл — и, представьте себе, угодил на страницу, где в глаза сразу бросается заголовок «Земная твердь». Что тут стало с Гдлевским! Теперь мальчик совершенно уверен, что Смерть посылает ему Знаки. Он с нетерпением ждет третьей пятницы, чтобы окончательно удостовериться, и тогда уж с полным правом наложит на себя руки. Ну, пускай ждет — три раза подряд подобные случайности не повторяются.

Разошлись рано, в половине десятого — вся церемония заняла не более двадцати минут. Благовольский, можно сказать, вытолкал всех за дверь, оставив одного Гдлевского. Очевидно, испугался за своего любимца, хочет отвлечь его от пагубной фантазии. Жалко будет, если новое солнце русской поэзии погаснет, не взойдя. Хотя что ж, одной красивой легендой станет больше: Веневитинов, Лермонтов, Надсон, Гдлевский. Смерть юного таланта всегда красива. Но Вам это неинтересно, поэтому перехожу к собственно отчету.

Выполняя Вашу просьбу, я приступил к слежке. При этом неукоснительно соблюдал все полученные рекомендации: двигаясь пешком, всегда держался подлунной стороны улицы и соблюдал дистанцию не менее пятидесяти шагов; на извозчике увеличивал расстояние до двухсот;

исправно вел записи в блокноте, не забывая помечать время, и прочее.

Итак.

На Рождественском бульваре Заика остановил ваньку и велел ехать на Поварскую, угол Борисоглебского. По вечернему времени звуки разносятся далеко, а извозчик громко повторил адрес, и это облегчило мою задачу. Сев в следующую свободную коляску, я велел гнать прямо к указанному месту, не утруждаясь следованием за Заикой, и в результате прибыл туда раньше. Спрятался в подворотне, откуда хорошо просматривался весь перекресток. Ждать пришлось не более двух-трех минут.

Заика (или, следуя принятой в ваших сферах терминологии, «объект»), постучав, вошел в дверь флигеля при доме номер восемнадцать. Поначалу я подумал, что там он и квартирует и, стало быть, Ваше поручение выполнено. Однако по некотором размышлении счел странным — с чего это человек будет стучаться в собственный дом? Решил на всякий случай проверить. Флигель одноэтажный, так что заглянуть в освещенные окна было нетрудно, благо улица по позднему времени уже опустела и мой маневр не привлек бы внимания прохожих. Подобрал подле мелочной лавки пустой ящик, подставил и заглянул в щель между занавесками.

Заика сидел за столом с какой-то пожилой дамой в черном. По тому, что цилиндр и перчатки лежали здесь же, возле его локтя, я понял, что он в гостях, и, видимо, ненадолго. Разговора мне было не слышно. Заика больше молчал и только время от времени кивал, зато дама рта почти не закрывала — что-то рассказывала, искательно заглядывая ему в лицо и беспрестанно утирая платком заплаканные глаза. Несколько раз он ее коротко о чем-то спросил. Она отвечала с видимой готовностью. Вид при этом имела такой, будто чувствует себя виноватой и оправдывается. В конце концов Заика встал и вышел, оставив на столе кредитку, которую хозяйка жадно схватила и спрятала за висящую на стене картину.

Боясь быть обнаруженным, я соскочил с ящика, проворно отбежал в сторону и встал за дерево. Коляску я не отпустил, велел дожидаться за углом. И правильно сделал, так как время было уже такое, когда извозчика найти непросто.

Заика, к примеру, прождал на тротуаре целых восемь минут, прежде чем смог ехать дальше. Если б не моя предусмотрительность, то тут бы слежка и прервалась.

Я велел извозчику сохранять дистанцию и подгонять лошадь, только когда впереди едущая пролетка скроется за углом. Мы выкатили на Садовую, где расстояние можно было еще более увеличить, и в протяжении двадцати шести минут двигались все прямо, а потом повернули на

Басманную. Возле нового пятиэтажного дома (5-бис) Заика вышел. Я подумал — теперь он уж точно приехал к себе, но сразу же стало ясно, что я снова ошибся. На сей раз он даже не отпустил экипаж. Я на своем проехал мимо до ближайшего поворота и там вновь велел извозчику дожидаться.

Оба подъезда дома были заперты, а будить дворника Заика не стал. Я видел, что он входит во двор, и осторожно последовал за ним. Высунувшись из-за угла, увидел, как он немного повозился с замком, открыл дверь черного хода и скрылся за нею. Это показалось мне крайне любопытным. Зачем такому важному господину, в английском рединготе и цилиндре, шастать среди ночи по черным ходам?

Я убедился, что замок на двери самый примитивный — его без большого труда можно открыть булавкой от галстука, что Заика, очевидно, и проделал. В противоборстве осторожности и азарта верх взял последний, и я решился. Чтоб не грохотать, снял сапоги и оставил их снаружи, а сам проскользнул внутрь.

По шагам было слышно, что объект поднимается на верхний, пятый этаж. Что он там делал, не знаю — карабкаться за ним не отважился. Что-то там вроде бы тихонько скрипнуло, потом наступила полная тишина. Я протомился пятнадцать минут и решил, что хватит. Вышел наружу и что вы думаете? Мои сапоги пропали! Ох, народишко московский! Ведь ночь, и во дворе никого не было, а не растерялся какой-то мерзавец. И, главное, как ловко — я тут же, в пяти шагах стоял, а ничего не слышал!

Представьте мое положение. Погода прохладная, и дождик недавно прошел, сыро, а я в одних чулках! Рассердился чудовищно. Хотел добежать до своей коляски да ехать восвояси. Но тут думаю: дай-ка погляжу наверх, что там, на пятом этаже. Не зажглось ли какое окно.

Нет, огонь нигде не зажегся, но вдруг я заметил, что по стеклу одного из окон — того, что рядом с лестницей, — вроде как пробежало белое пятно. Пригляделся — и точно: кто-то электрическим фонариком светит. Кому же это быть, если не объекту?

Оцените всю глубину моей преданности делу. Озябший, с мокрыми ногами, я принял решение выполнить поручение до конца.

Заика вышел через девять минут после этого, и слежка была продолжена. Экипажей теперь не попадалось вовсе, стук колес и копыт по булыжнику разносился очень далеко, поэтому мне пришлось сильно отстать, так что дважды я чуть было его не потерял. Надеялся я только на одно — что Заика, наконец, уже уgomонился и отправляется к себе ночевать, я же поспешу домой, пропарю ноги и выпью чаю с малиной. Да

будет Вам известно, что у меня склонность к простудам, а после всякий раз неотвязный кашель. Но ради Вас я пренебрег даже здоровьем!

За Яузой начались слободы, и я, помнится, всё удивлялся, что Заика выбрал себе такое непрезентабельное место жительства. Окончательно я уверился в том, что его разъезды закончены, когда увидел, что он отпускает извозчика. Я же своему вновь велел ждать, хотя он жаловался, что лошадь устала и пора чай пить. Пришлось за простой сунуть лишний полтинник — как вскоре выяснилось, напрасно. Между прочим, затраты на исполнение Вашего поручения составили за сегодняшний день существенную сумму: три рубля пятьдесят копеек. Сообщаю Вам это не из меркантильности, а чтобы Вы сознавали, как дорого во всех смыслах обходится мне мой альтруизм.

Я весьма удачно спрятался за колодцем, в густой тени раскидистого дерева, Заика же был ярко освещен луной, поэтому я мог наблюдать за его действиями, оставаясь в полной безопасности, если, конечно, не учитывать опасности для моего здоровья из-за мерзнущих ног.

Дом, к которому направился объект, показался мне ничем не примечательным: бревенчатое строение в четыре темных окна, по бокам — дощатый забор с калиткой. На сей раз Заика не пытался проникнуть внутрь. Он подошел ко второму слева окну и стал проделывать какие-то непонятные манипуляции. Мне поначалу показалось, что он очерчивает рукой по периметру рамы прямоугольник. Но затем до моего слуха донесся легкий скрежет, и я догадался, что Заика чем-то скребет по стеклу. Далее он извлек из кармана какой-то невидимый мне предмет, раздался чмокающий звук, стекло блеснуло под луной и вышло из рамы. Только тогда я понял, что Заика вырезал его алмазом. С какой целью — мне неизвестно. Он снял редингот, осторожно обернул в него свою странную добычу и отправился по улице в обратном направлении. Теперь стало ясно, почему он отпустил извозчика — от тряски по булыжной мостовой стекло могло бы разбиться. Пришлось и мне рассчитаться со своим ванькой, после чего я с соблюдением массы предосторожностей двинулся за объектом.

Как я уже писал, после вечернего дождя ночь выдалась ясная и лунная, поэтому высокий силуэт Заики был виден издалека. Я отстал шагов на полтора, а ступал по известной причине бесшумно, так что заметить меня он не мог.

Шли мы страшно долго — через мост, потом по длинной улице, названия которой я не знаю, потом мимо Каланчевской площади и вокзалов. Я отбил себе о булыжник все ноги, изорвал чулки, но твердо решил довести дело до конца. Уж теперь-то неугомонный Заика наверняка

шел к себе домой. Невозможно было предположить, что он со столь хрупкой ношей в руках затеет еще какую-нибудь эскападу.

Однако выяснить его адрес, что и составляло главный смысл полученного от Вас задания, мне не удалось, потому что на Сретенке, в Ащеуловом переулке, со мной случилось страшное и таинственное происшествие.

Мне пришлось ускорить шаг, потому что Заика скрылся за углом и я боялся его потерять. От этого я несколько утратил бдительность и, проходя мимо некоей подворотни, даже не заглянул туда. Однако стоило мне поравняться с этой темной дырой, как вдруг я оказался схвачен сзади за ворот — с чудовищной, нечеловеческой силой, так что едва не оторвался от земли. Раздалось жуткое, леденящее кровь шипение, и злобный, свистящий голос, от одного воспоминания о котором у меня и сейчас стынет кровь в жилах, просипел слово, похожее на заклятье. Я запомнил это заклинание: ТИКУСЁ! Дорого бы я отдал, чтобы узнать, в чем его смысл. В следующий миг на мою несчастную, переставшую что-либо понимать голову обрушился страшный удар, и сознание милосердно меня покинуло.

Я пришел в себя там же, в подворотне. Судя по часам, я пролежал без чувств не менее получаса. Не знаю, что за напасть со мной приключилась, но только это было не ограбление — часы и кошелек, равно как и все прочие вещи, остались при мне. Трепеща от ужаса, я добежал до Сретенки, остановил ночного извозчика и отправился домой.

Сейчас, когда я пишу Вам этот отчет, мои ноги прогреваются в тазу, а к моему затылку, где образовалась огромная шишка, привязан пузырь со льдом. Ступни сбиты в кровь, и очень вероятно, что я жестоко простужен. О расшатанных нервах нечего и говорить — я уселся писать Вам это письмо, потому что боюсь лечь спать. Уверен, что, стоит мне уснуть, как я вновь услышу этот кошмарный свистящий голос. И украденные сапоги безумно жалко — они были козловые, почти совсем новые.

А теперь, многоуважаемый Виссарион Виссарионович, когда Вам известно во всех подробностях, сколько я претерпел по Вашей милости, я выдвигаю требование. Если угодно, можете счесть его ультиматумом.

Вам придется дать мне самые исчерпывающие объяснения о причинах, по которым Ваше «очень высокое лицо» интересуется Заикой, кто таков этот загадочный господин и что вообще означает вся эта чертовщина?

Оскорбленный и недоумевающий

ZZ

12 сентября 1900.

Глава четвертая

I. Из газет

Лавр Жемайло

ЕСТЬ МНОГО НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕСАХ ТАКОГО.

Ненаучные рассуждения в связи с эпидемией московских самоубийств

Верите ли вы в науку и прогресс?

Я тоже, мой читатель. Верю всей душой и горжусь свершениями человеческого гения, открывающими нам дорогу в XX век: электрическими лампочками, синематографом и 10000-тонными броненосцами.

А верите ли вы в колдунов, черный глаз и нечистую силу?

Ну разумеется, нет — иначе вы читали бы не нашу просвещенную газету, а какой-нибудь спиритический «Ребус» или «Взгляд в бездну». И если я, Лавр Жемайло, скажу вам, что нечистая сила действительно существует, вы решите, что ваш покорный слуга, идущий по следу одного из самых опасных тайных обществ столетия, поддался мистическим чарам, сошел с ума и не сегодня-завтра окажется пациентом Боженинской психолечебницы или, того пуще, намылит веревку вслед за персонажами своих мрачных очерков.

По Москве ползут слухи. Будоражащие, жутковато-пьянящие, соблазнительные. В бонтонных гостиных, в артистических салонах, за интеллигентскими чаепитиями идет великая битва между матерьялистами и мистиками. Спорят громко, до хрипоты. А если в доме есть дети, то, наоборот, спорят шепотом, но оттого не менее неистово. Складывается впечатление, что мистики берут верх, и всё чаще звучит таинственное слово «Знаки».

Даже те, кто никогда прежде не интересовался поэзией, декламируют наизусть туманные стихи самоубийц, где говорится о посланцах в белом плаще, воющих Зверях и смертоносных царевичах.

Страшно, очень страшно. Но еще более того интересно!

Неужто сама Смерть во всей своей красе, с косой и в саване, повадилась бродить по улицам нашего мирного города, заглядывая в лица и отмечая *своих* неким тайным знаком? Или, быть может, это забавы Дьявола (не к ночи будь помянут)?

Я рассмешил вас, вы улыбаетесь. И правильно делаете — ларчик открывается куда как проще.

Иссушающая болезнь *мраколюбия* поразила умы и сердца. Мозг тех, кто подцепил страшную заразу, жадно впитывает дыхание тьмы, вглядывается в мрак, выискивая там «Знаки» и будучи готов воспринять любую странность и необъяснимость как приглашение броситься в ледяные объятия ее величества Смерти.

И тогда, взглянув на закатные облака, вполне возможно разглядеть на них силуэт виселицы, как это произошло с 16-летним Ф., кажется, вовсе не связанным с «Любовниками Смерти» (см. заметку «Самоубийство гимназиста» в номере от 9 сентября); кто-то трепетно внимает завываниям ночного ветра в печной трубе или вздрагивает, увидев звукосочетания, что рифмуются со словом «смерть». Никогда еще первопрестольная не переживала такой вакханалии самоубийств, как в последние дни. Трое вчера, двое позавчера, четверо третьего дня — и это не считая спасенных, которых, вероятно, в десять раз больше!

Уже пять молоденьких дурочек отравились вслед за Лорелеей Рубинштейн, которой теперь земля вряд ли будет пухом — только не под аккомпанемент проклятий, которыми осыпают несчастную родственники погибших девочек.

Да-да, разумом я отлично понимаю, что всё дело в психологическом недуге современного общества, но, Боже, как велико искушение повторить вслед за принцем Датским: «Есть много на земле и в небесах такого, что нашей мудрости не снилось»!

А ведь, пожалуй, и вправду есть. Ибо Смерть, господа, — это не химера и не колдовство, а научно установленный факт. С точки зрения физики — необъяснимое исчезновение энергии, что, насколько я помню из гимназического курса, прямо противоречит закону сохранения оной. Куда же, в самом деле, девается жизненная энергия в момент смерти? Не может ли она в некоем видоизмененном, преобразованном виде возвращаться обратно? Что если произошла некая природная аномалия? Что, если над Москвой повисло невидимое глазу, но вполне реальное облако смертоносной энергии?

Разве так уже не бывало прежде? Разве не гибли по непонятной причине целые города, словно лишившиеся жизненного источника? Пришли в упадок и запустение древние Вавилон, Афины, Рим. Историки винят нашествие варваров, экономический упадок или духовный кризис. А вдруг всё объясняется иначе? Любой очень старый и очень многолюдный город, в котором за долгие века существования ушли из жизни сотни тысяч

и миллионы людей, задыхается в тесных объятьях могил и кладбищ. Мертвые кости везде: на погостах, на дне рек, под фундаментами домов, под ногами прохожих. Воздух густ и сдавлен от последних выдохов умерших и выплесков жизненной энергии. Разве не чувствует этой асфиксии деревенский житель, впервые оказавшийся в древней столице и вдохнувший ее миазмы?

Если взять всех жителей Москвы за семь столетий, то мертвецов окажется много больше, чем живых. Мы с вами в меньшинстве, господа. Так стоит ли удивляться, что некоторых — многих — из нас тянет присоединиться к большинству. Центр энергии там, а не здесь.

Ученые скажут, что я несу чушь. Очень возможно. Но сто или двести лет назад предшественникам наших многомудрых академиков бесовщиной казались невидимые глазу магнетизм или электричество, а вид автомобиля поверг бы их в ужас, не говоря уж о рентгеновских лучах или движущихся картинках. Как знать, уважаемые доктора и магистры, не откроет ли наука XX века некие иные виды энергии, распознать которые не способны наши органы чувств и несовершенные приборы?

Ответ за Будущим.

Что же касается скромного репортера Жемайло, который способен прозреть грядущее не лучше, чем вы, то можете быть уверены, почтенные читатели «Курьера», что ваш покорный слуга не свернет со следа «Любовников Смерти». Вы и впредь будете первыми узнавать обо всех моих наблюдениях и открытиях.

«Московский курьер» 13(26) сентября 1900 г.

2-я страница

II. Из дневника Коломбины

Непредсказуемая и прихотливая

"Я так и не знаю, зачем я ему нужна — во всяком случае, ухаживать за мной он не пытается, а ведь мы довольно много времени проводим вместе. Считается, что я помогаю ему расследовать обстоятельства смерти бедняжки Офелии, а заодно уж и все прочие таинственные происшествия, связанные с нашим клубом.

Но иногда мне начинает казаться, что он меня просто опекает, словно какую-нибудь простушку, глупенькую провинциалку, попавшую в большой и опасный город. Право, смешно. Я, может быть, и провинциалка, но глупенькой и тем более простушкой меня не назовешь. Я уже не та, что прежде. Мне стали совершенно непонятны обычные, скучные люди с их обычными, скучными заботами, а это значит, что сама я перестала быть обычной и скучной.

И все же я рада этой опеке. Мне нечем себя занять в дневное время, да и вечерние собрания продолжаются недолго: три или четыре добровольца пробуют счастья на рулетке, и на этом всё заканчивается. После того первого вечера, когда выиграл Гэндзи, череп никому больше не выпадал, хотя Калибан, например, не пропускает ни единого дня. Я уже описывала свою позавчерашнюю попытку, к которой долго готовилась. Выпавшая мне шестерка, если вдуматься, просто оскорбительна! Если мерить на игральные карты, выходит, что для Смерти я — младшая карта в колоде. Самое же чудовищное то (и об этом я не писала), что, убедившись в неудаче, я испытала не разочарование, а горячее, острое, позорнейшее облегчение. Видимо, я еще не готова.

После ухода Львицы Экстаза я недолго оставалась в обществе единственной женщиной. Двух новеньких соискательниц я уже коротко обрисовала, но, как выясняется, я еще была к ним слишком снисходительна. Это совершеннейшие ничтожества! Причем Ифигения еще терпима, потому что понимает свою цену, но вот вторая, Горгона, держится королевой и все время норовит оказаться в центре внимания. Часто ей это удается, но в менее лестном смысле, чем ей хотелось бы.

Козлоногий Критон, разумеется, сразу же кинулся увиваться за обеими — я слышала, как он разглагольствовал перед глупышкой Ифигенией о

естественности наготы. Но собрал пыльцу с этих сомнительных бутонов, разумеется, Просперо: третьего дня он велел остаться Горгоне, а вчера и розовощекой дурочке. Самое странное, что я не испытала при этом ни малейшей ревности. Я пришла к выводу, что плотское и чувственное меня совершенно не волнует. Лишнее тому доказательство я имела позавчера, когда после игры Просперо вдруг взял меня за руку и повел за собой.

Я пошла. Почему бы и нет? Увы, волшебство не повторилось. Вообще все вышло довольно глупо. Он снова уложил меня на медвежью шкуру, завязал мне глаза и долго водил по моему телу мокрой и холодной кисточкой (потом выяснилось, что он рисовал тушью магические знаки — еле отмылась). Было щекотно, и я несколько раз, не выдержав, хихикнула. Физиологическая же часть завершилась очень быстро.

Вообще у меня складывается впечатление, что «восторги сладострастия», о которых с многозначительной туманностью поминают русские авторы, и *les plaisirs de la chair*,^[4] которые с куда большей детальностью описывает современная французская литература, — еще одна выдумка, изобретенная человечеством, чтобы романтизировать тягостную обязанность продолжения рода. Это вроде коньяку. Помню, как в детстве мечтала: вот вырасту большая и тоже выпью коньяку — папенька с таким удовольствием пропускает рюмочку перед воскресным обедом. Однажды набралась храбрости, пододвинула к буфету стул, влезла на него, достала графин и отхлебнула из горлышка... Кажется, именно в тот момент я впервые поняла, сколько в людях притворства. На коньяк до сих пор не могу смотреть без отвращения. Как можно добровольно пить эту едкую гадость? С физиологической любовью, кажется, дело обстоит точно так же. Уверена, что для папеньки приятен был не сам коньяк, а ритуал: воскресный день, парадный обед, поблескивание хрустального графина, предвкушение неспешного вечернего досуга. То же с актом любви: всё предшествующее ему настолько пленительно, что можно извинить бессмысленность и постыдность самого действия, благо длится оно недолго.

(Этот абзац нужно будет после вычеркнуть — не из-за смелости рассуждений, это как раз неплохо, но очень уж по-детски получилось. На физиологии остановлюсь где-нибудь в другом месте, подробнее и без наивности.)

Мне кажется, Просперо заметил мое разочарование — при расставании его взгляд был задумчив и, пожалуй, даже немного растерян. Но прощальные его слова были прекрасны: «Иди и растворишься в ночи». Я сразу ощутила себя химерой, ночным наваждением. Мои шаги по темному

бульвару были легки и бесплотны.

И все же я больше не безвольная игрушка в его руках. Власть Просперо надо мной уже не абсолютна, чары ослабли.

Нет, к чему лукавить с собой? Дело вовсе не в чарах, а в том, что Просперо теперь стал занимать меня меньше, чем прежде. Я провожу столько времени с Гэндзи не только оттого, что не знаю, чем бы себя занять. Он интригует меня. Иногда мы подолгу молчим, как, например, вчера в кофейне. Но бывает, что и разговариваем, причем на самые неожиданные темы. При всем своем немногословии Гэндзи — увлекательный собеседник. И полезный, у него можно многому научиться.

Вот чего я в нем совершенно не выношу, так это пустой мужской галантности. Сегодня я вновь попробовала заставить его согласиться с очевидным:

— Как вы можете быть так слепы с этим вашим тупым материализмом и стремлением найти всему рациональное объяснение? Наш мир — маленькое освещенное пятнышко, со всех сторон окруженное тьмой. Из этого мрака за нами следят мириады внимательных глаз. Могучие руки управляют нашими поступками, дергая за невидимые нити. Нам никогда не разобраться в этой механике. Ваши попытки анатомировать потусторонние Знаки просто смехотворны!

А он вместо ответа:

— У вас, мадемуазель Коломбина, премилое платье, вам очень идет.

Платье на мне и вправду было недурное: шелковое, светло-голубое, с брюссельскими кружевами — на первый взгляд совсем конвенциональное, но к манжетам и нижней оборке пришиты маленькие серебряные колокольчики, так что каждое движение сопровождается едва слышным нежным звоном — это мое собственное изобретение. Однако некстати сказанный комплимент меня рассердил.

— Не смейте разговаривать со мной, как с пустоголовой идиоткой! — воскликнула я. — Что за несносная мужская манера!

Он улыбнулся:

— Такие слова под стать какой-нибудь суфражистке. А я-то полагал, что вы ветреная Коломбина, игрушка в руках злого Арлекина.

Я вспыхнула. Кажется, в начале знакомства я в самом деле говорила ему нечто подобное. Как провинциально! Теперь я ни за что бы не произнесла вслух подобную жеманную пошлость. Однако прошло не более двух недель. Отчего я так быстро перевернулась?

Видно, дело в том, что рядом, совсем рядом всё время кто-то умирает. Сама Смерть описывает вокруг меня плавные, грациозные круги, которые с

каждым разом делаются уже и уже. А Гэндзи еще толкует о каком-то расследовании!

Он ужасно скрытен и почти ничего мне не рассказывает. Я не знаю ни его настоящего имени, ни рода его занятий. Кажется, он инженер — во всяком случае, очень интересуется новинками техники и оживляется, когда речь заходит о самоходных экипажах либо мотопедах.

Что мне, собственно, о нем известно? Уже лет десять он живет за границей, перемещаясь из страны в страну. Жил в Америке. В России бывает наездами — у него какие-то нелады с московскими властями. Он сказал, что ему пришлось сменить квартиру, потому что Маса заметил слежку — почти у самого дома. С филером японец обошелся неделикатно, потому что терпеть не может эту породу со времен своей разбойничьей юности. В общем, пришлось съехать из Ащеулова переулкa, расположенного в пяти минутах ходьбы от дома Просперо, за Сухаревку, в Спасские казармы, там как раз свободна одна из офицерских квартир.

Начнешь выпрашивать подробности — отвечает уклончиво. И никогда не поймешь, всерьез он разговаривает или морочит голову".

* * *

Коломбина оторвалась от дневника, посмотрела в окно, задумчиво покусывая ручку. Как бы получше описать их сегодняшнюю встречу в кафе «Риволи»?

Она сильно опоздала. То есть на самом-то деле пришла даже раньше назначенного времени и прогуливалась на противоположной стороне улицы. Видела, как в кафе входит Гэндзи, и после этого еще полчаса разглядывала витрины. Приходить на свидание вовремя — дурной тон, провинциализм, который нужно в себе искоренять. На всякий случай не спускала глаз с двери. Если ему надоест ждать и он соберется уходить, надо будет подойти, сделать вид, будто только что появилась.

Должно быть, со стороны я смотрюсь странно, подумала Коломбина: экстравагантно одетая молодая особа стоит на одном месте безо всякого дела, будто жена Лота, превратившаяся в соляной столп. Поглядев вокруг, она заметила, что на нее и в самом деле пялится какой-то юнец в клетчатом пиджачке и дурацком соломенном канотье с шелковой лентой. Облизнулся, наглец (во рту блеснул золотой зуб). Хорошо хоть не подмигнул. Ясное дело — принял за кокотку, ну и пускай. Если бы не навязчивое внимание нахального молокососа, она протомила бы Гэндзи еще дольше.

Правда, не очень-то он, кажется, и томился. Сидел совершенно спокойно, читал газеты. Не упрекнул Коломбину за опоздание ни единым словом, заказал ей чашку какао и пирожных. Сам пил белое вино.

— Что интересного вычитали? — спросила она с небрежным видом. — Право, не понимаю тех, кто читает газеты. Всё истинно важное происходит не с другими людьми, а с тобою самим и внутри тебя. Об этом ни в каких газетах не напишут.

Он был обескуражен этим суждением.

— Отчего же? И с другими людьми происходит много всего интересного.

— Да? — насмешливо улынулась Коломбина. — Ну попробуйте меня заинтересовать вашими новостями. Что творится на свете?

— Извольте. — Он зашуршал газетой. — Так... Вести с Трансваальского театра военных действий. Это вас вряд ли заинтересует... Попробуем раздел с-спорта. — Гэндзи перевернул страницу. — *«Вчера в Петербурге на Крестовском острове состоялся матч между Германским и Петербургским футбольными кружками. Петербургская команда была нападающей стороной и одержала полную победу над противником, послав в гейт германцев восемнадцать голов, а сама пропустив только семь»*. Ну как?

Она красноречиво поморщилась.

— А про Северный п-полюс? Очень любопытная статья. *«Принцу Людвигу Абруцкому, предпринявшему попытку достичь Северного полюса на сибирских собаках, пришлось вернуться на Шпицберген. Три члена экспедиции погибли в ледяных торосах, а сам его высочество подвергся жестокому обморожению и лишился двух пальцев на левой руке. Очередная неудачная попытка покорения высшей точки земного шара подвигла известного мореплавателя капитана Иоганнесена на новый проект. Этот опытный полярник предполагает заняться приручением белых медведей для замены ими слабосильных лаек. Для дрессировки молодых медведей, утверждает капитан, потребуется приблизительно три года, и тогда они будут в состоянии с необычайной легкостью везти сани через лед или лодку вплавь. Иоганнесен объявил, что подготовке его необычной экспедиции патронирует сама принцесса Ксения, супруга наследника престола принца Олафа»*.

Здесь Гэндзи отчего-то вздохнул, а Коломбина прикрыла ладонью рот, делая вид, будто зевает.

— Ну хорошо, — отступился он, поняв, что заинтересовать даму спортом ему не удастся. — Попробуем раздел «Смесь», там всегда есть что-

нибудь любопытное. Да хоть вот это. «ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДЕЛКА МОШЕННИКОВ. 14 сентября крестьянин Семен Дутиков по прибытии в Москву шел от Курского вокзала по Садовой улице и, не зная, где пройти в Черкасский переулок, обратился к неизвестному мужчине с просьбой указать ему дорогу. Неизвестный вызвался проводить Дутикова, на что последний согласился. Когда они шли по одному из глухих переулков, неизвестный указал Дутикову на лежащий посреди тротуара бумажник, в коем оказалось 75 рублей. Дутиков согласился поделить деньги пополам, но в это самое время из подворотни выбежал плечистый господин весьма решительного вида и стал кричать, что бумажник обронен им и что там лежало 200 рублей...» Ах, п-проходимцы! Бедный крестьянин Дутиков!

Воспользовавшись тем, что Гэндзи прервал чтение, она попросила:

— Прочтите лучше из раздела «Искусство». Ну их, ваших мошенников. И так ясно, что вашего крестьянина ободрали, как липку. Так ему и надо, пусть не зарится на чужое.

— Слушаюсь, мадемуазель. «НОВАЯ ПЬЕСА. В Москву приехал молодой писатель Максим Горький, который привез с собою только что написанную им и даже не проведенную в цензуре пьесу, которую он предполагает назвать «Мещане». Первый драматургический опыт г. Горького возбудил живейший интерес у дирекции Художественно-Общедоступного театра».

— Фи, мещане, — протянула Коломбина. — Он бы еще про бродяг пьесу сочинил или про ночлежку. Нет, наши русские писатели совершенно неисправимы. В жизни и без того мало красивого, а их всё тянет в грязи копаться. Прочтите мне лучше про что-нибудь эффектное.

— Есть и эффектное. «НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ АРХИМИЛЛИОНЕРОВ. В Нью-Порте, самом модном морском купанье американских богачей, в последнее время наблюдается истинная мания к автомобилизму. Отпрыски виднейших американских фамилий носятся по шоссе и набережным на головокружительной скорости до 30 верст в час. Полиция отмечает все возрастающее число несчастных случаев, вызванных гонкой на самодвижущихся экипажах. Недавно чуть не разбился молодой Гарольд Вандербильт, въехавший на своем «Панар-Левассоре» в повозку с сеном». 30 верст в час это не предел! — воскликнул Гэндзи с воодушевлением. — Да и не в скорости дело! Я уверен, что автомобиль — это не просто забава, на нем можно преодолевать огромные расстояния. И я докажу свою правоту, вот только закончу свои московские дела!

Никогда еще Коломбина не видела невозмутимого Гэндзи в таком возбуждении. Права покойная Лорелея: мужчины — сущие дети.

Но тут его взгляд вновь упал на газетную полосу, и лицо японского принца помрачнело.

— Что такое? — насторожилась она.

— Снова статья про «Хитровского Слепителя», — неохотно ответил он, скользя глазами по строчкам. — Никак не могут поймать. Ничего нового, досужие журналистские спекуляции.

— «Хитровский Слепитель»? — Коломбина наморщила носик. — А, это преступник, который выкалывает своим жертвам глаза? Да-да, я слышала. Какое вульгарное прозвище! Почему преступления обязательно должны быть так по-звериному скучны? Куда подевались настоящие художники злодейства? Я бы казнила убийц не за то, что убивают, а за то, что делают свое кровавое дело так бездарно, так пошло!

Эта мысль пришла Коломбине только что, по вдохновению, и показалась ей необычайно яркой и провокативной, но приземленный собеседник никак не откликнулся и хмуро сложил газету.

После кафе пошли прогуляться по Кузнецкому мосту и Театральному проезду. Навстречу шла манифестация охотнорядцев во главе с гласными городской думы — в честь очередной победы русского оружия в Китае. Генерал Ренненкампф взял какой-то Тучжань и еще Цянь-Гуань. Несли портреты царя, иконы, хоругви. Кричали хором «Ура Россия!»

Шли распаренные, краснорожие, счастливые, но при этом все равно сердитые, как будто их кто-то обидел.

— Смотрите, — сказала Коломбина. — Они грубые, нетрезвые и злые, зато они патриоты и любят родину. Видите, как они радуются, хотя, казалось бы, что этим лавочникам Цянь-Гуань? А мы с вами образованные, вежливые, чисто одетые, но до России нам дела нет.

— Какие же это патриоты? — пожал плечами Гэндзи. — Просто к-крикуны. Законный повод подрать глотку, не более. Истинный патриотизм, как и истинная любовь, никогда о себе не кричит.

Она не сразу нашлась, что ответить, задумалась. А вот и нет! Истинная любовь о себе кричит, да еще как. Если представить, что ты кого-то полюбила, а его у тебя отобрали, разве не закричишь? Так завоюешь, что весь мир оглохнет. А впрочем, это, вероятно, дело темперамента, вздохнула Коломбина. Застегнутого на все пуговицы Гэндзи, наверное, хоть на куски режь, он все равно кричать не станет — сочтет, что это ниже его достоинства.

Ей вдруг захотелось растормошить его, схватить за плечи и как следует потряхнуть, чтобы растрепался безукоризненный пробор.

— Отчего вы всегда такой спокойный? — спросила она.

Он не отшутился и не перевел разговор на пустяки, как делал обычно, а ответил просто и серьезно:

— Я не всегда был таким, мадемуазель Коломбина. В юности я приходил в волнение из-за любой ерунды. Однако судьба испытывала мою чувствительность так часто и жестоко, что теперь пронять меня чем-либо трудно. К тому же Конфуций говорит: «У сдержанного человека меньше промахов».

Кто такой Конфуций, она не знала. Вероятно, какой-нибудь античный умник, но изречение ей не понравилось.

— Вы боитесь промахов? — презрительно рассмеялась она. — А я вот хочу всю свою жизнь построить на одних промахах — по-моему, прекрасней этого ничего нет.

Он покачал головой:

— Известна ли вам восточная доктрина перерождения душ? Нет? Индусы, китайцы и японцы верят, что наша душа живет не единожды, а много раз, меняя телесные оболочки. В зависимости от ваших поступков вы можете в следующей жизни получить повышение или же, наоборот, быть разжалованы в гусеницу или, скажем, ч-чертополох. И в этом смысле промахи крайне опасны — каждый из них отдаляет от гармонии и, стало быть, понижает ваши шансы переродиться во что-нибудь более достойное.

Последнее замечание показалось Коломбине довольно обидным, но она не стала заявлять протест — так поразила ее воображение восточная теория.

— Я хотела бы в следующей жизни превратиться в стрекозу с прозрачными крыльями. Или нет, в ласточку! А возможно заранее определить, кем родишься в следующий раз?

Гэндзи сказал:

— Определить нельзя, а угадать, вероятно, можно — во всяком случае, когда жизнь уже почти вся прожита. Один из буддийских вероучителей утверждает, что с возрастом лицо человека обретает черты, подсказывающие, кем или чем он появится на свет в следующем рождении. Вы не находите, что наш Д-дож, например, удивительно похож на филина? Если в своем следующем рождении, пролетая легкокрылой ласточкой над темным лесом, вы услышите уханье — будьте осторожны. Очень возможно, что это перерожденный господин Просперо снова заманивает вас в свои сети.

Она прыснула. Просперо со своими круглыми пронзительными глазами, крючковатым носом и несоразмерно пухлыми щечками и в самом деле был похож на филина.

Ладно, про разговор с Гэндзи можно не писать, решила Коломбина, а вот про Просперо — это важно. Обмакнула стальное перо в чернильницу, застрочила дальше.

"Я тут писала, что, как ни странно, совсем не ревную Дожа к Ифигении и Горгоне. А вот он меня, по-моему, ревнует! Я это чувствую, я знаю наверняка. Женщины в таких вещах не ошибаются. Ему досадно, что я уже не смотрю на него тоскливыми овечьими глазами, как прежде. Сегодня вечером он не обращал внимания ни на ту, ни на другую, а смотрел только на меня. Обе дурочки страшно бесились, и это, не скрою, было приятно, но мое сердце не забилося чаще. Новое мое стихотворение он превознес до небес. О, каким блаженством эта похвала была бы для меня еще совсем недавно! А нынче я нисколько не обрадовалась, потому что отлично знаю — стихотворение посредственное.

Игра в рулетку начинает приедаться. Первый признак — обилие желающих. Сегодня кроме всегдашнего Калибана, разочарованные вопли которого просто комичны, крутить колесо отважились даже Петя и Критон (первый — густо покраснев, второй — смертельно побледнев; любопытная психологическая деталь: после благополучного исхода Петя сделался блее простыни, а Критон раскраснелся). Труполобивый прозектор Гораций, бросая шарик, подавил зевок — я явственно это заметила. Сирано даже позволил себе созорничать: пока рулетка вертелась, он напевал шансонетку «Покружись, душа-девица». Дождь наблюдал эту браваду молча, с насупленным челом. Он не может не понимать, что затея с колесом фортуны оказалась неудачной. Смерть явно не желает унижать себя, участвуя в этом дешевом аттракционе.

Только братья-немцы по-прежнему старательны и серьезны. Бросая шарик, Розенкранц всякий раз выразительно косится в мою сторону. Далее этого его ухаживания не идут. Я замечаю, что они с Гильденстерном часто переглядываются между собой, словно разговаривают глазами. По-моему, они отлично понимают друг друга без слов. Я где-то читала, что у близнецов такое бывает. Один только взглянул, а другой уж протягивает ему портсигар. И еще: когда шарик скачет по ячейкам, каждый из них смотрит не на колесо, а лишь на брата — угадывает результат по выражению лица, так похожего на свое собственное.

Гдлевский за нашими играми наблюдает иронически. Ждет великого дня — завтрашней пятницы. Мы все над ним подтруниваем, а он надменно молчит и лишь улыбается с видом уверенного превосходства. Сразу видно, что, с его точки зрения, все прочие соискатели — ничтожества и только он

один достоин стать возлюбленным Смерти. Калибан, разозленный очередной неудачей с колесом, обозвал гимназиста «наглым щенком». Чуть не дошло до дуэли.

А в конце сегодняшнего вечера Коломбина выкинула штуку, удивившую ее саму. Когда «любовники» начали расходиться, к ней, светловолосой вакханке, подошел Дождь и взял двумя пальцами за подбородок.

— Останься, — велел он.

Она ответила ему долгим интригующим взглядом. Потом скользко коснулась его руки розовыми губами и прошептала:

— Не сегодня. Ухожу, растворяюсь в ночи.

Легко развернулась и вышла вон, а он застыл в растерянности, провожая молящим взглядом тонкую фигурку непредсказуемой и прихотливой чаровницы.

Так ему и надо".

Пятница — день особенный

В ту пятницу, направляясь на очередное заседание клуба, Коломбина вышла из дому раньше обычного — такой уж это был вечер: вкрадчивый и щемящий, он сулил что-то не то очень хорошее, не то, наоборот, страшное, а может быть, одновременно очень хорошее и очень страшное.

Она ощутила волнующий привкус трагедии еще утром, когда увидела обманчиво ясное сентябрьское небо, накрывшее город полупрозрачной фарфоровой чашей.

Перед завтраком проделала свою обычную гимнастику — приучала душу не бояться смерти. Вышла на балкон, распахнула чугунную дверцу, ведущую в пустоту, и встала на самом краешке, прислушиваясь к быстрому стуку сердца. Звуки, несущиеся снизу, с улицы, были многозначительно гулкими, стекла лучились нервными бликами, а внизу растопырил крылья ангел, плененный Мебиусом и сыновьями.

Потом был день, пустой и бессущностный — пауза, вдох, тишина перед тем, как раскроется бархатный занавес ночи. Вечером чуткий слух Коломбины уловил пока еще нестройные, но все равно волшебные звуки мистического оркестра, и усидеть дома уже не было мочи.

Она стучала каблучками вдоль фиолетовых улиц, а навстречу наплывали волны тревожно-сладостной увертюры, и с каждым шагом рокошущая мелодия делалась все слышней.

Коломбина была готова ко всему и в знак своей решимости вырядилась в цвета траура. Смиренная гимназистка, постигающая науку смерти, надела скромное черное платье с узким белым воротничком, лиловый фартук с похоронной каймой, волосы же сплела в две весталочки косы и перетянула багряной лентой.

Шла не спеша, думала о красивом. Что пятница — день особенный, черный день, навеки смоченный кровью мечтательного и прекраснодушного Пьеро, которого жестокие Арлекины приколотили гвоздями к доскам девятнадцать столетий назад. Оттого, что алые капли никак не высохнут, всё сочатся, всё стекают по кресту, переливаясь и посверкивая на солнце, пятый день седмицы наполнен неверным, мерцающим отсветом беды.

В переулке, куда Коломбина свернула с бульвара, беззвучная увертюра завершилась, и раздалась первая сольная ария этой зловещей оперы — ария до того нелепая и комичная, что грезёрка чуть не рассмеялась. Помнилось, что ночь над ней подшутила: пригласила на трагедию, а вместо этого разыграла фарс.

На тротуаре, в каком-нибудь десятке шагов от дома Просперо, под фонарем, стоял старый, облезлый шарманщик в красной феске и синих очках. Он яростно крутил ручку своего скрипучего инструмента и во все горло, отчаянно фальшивя, орал дурацкую песню — должно быть, собственного сочинения.

Шарманочка, шарманка,
Дорога даль-няя!
Сгубила ты мальчонку,
Несча-астного меня!

Куплетов было много, но чаще всего звучал припев, такой же неуклюжий, как остальные вирши. Луженая глотка старательно выводила его снова и снова:

Ах, лаковая ручка,
Мне счастья не вернет.
Хоть круть её-о, хоть верть!
Хоть круть её-о, хоть верть!
Хоть круть её-о, хоть верть!

Коломбина постояла минутку-другую, послушала, после звонко рассмеялась, бросила потешному старику монету и подумала: этакому пессимисту, да еще и поэту, прямая дорога к нам в «любовники».

* * *

— Сегодня мы раскрутим Колесо Смерти в последний раз, — объявил Дождь собравшимся. — И если избранник опять не будет назван, я изобрету новый ритуал.

Калибан и Розенкранц поочередно метнули золотой шарик на разноцветный круг, и каждый из них был отринут Смертью.

— Я знаю, в чем загвоздка, — наморщил свой монументальный нос шутник Сирано. — Во воем виновата медицинская карета, что вернула к жизни принца Гэндзи. Можно сказать, украла у Смерти суженого прямо из-под венца. Вот Властительница и обиделась на нашу рулетку. Ей-богу, дорогой Гэндзи, вам следует выпить яду еще раз. Это рулетка из-за вас заупрямилась.

Кое-кто засмеялся рискованной шутке. Гэндзи вежливо улыбнулся, а у Просперо сделался такой несчастный вид, что Коломбине стало его жалко.

— Нет-нет! — воскликнула она. — Дайте мне попытать счастья! Если Смерть в обиде на мужчин, то, может быть, повезет женщине. Ведь призвал же Царевич Львицу Экстаза!

Сказала — и сама испугалась. А ну как выпадет череп? Ведь и предчувствие, и траурный наряд — всё одно к одному.

Очень быстро, чтоб не дать себе представить возможные последствия, она шагнула к столу, схватила шарик и приготовилась его метнуть.

В этот самый миг в гостиную вошел, а вернее ворвался вихрем последний из «любовников», опоздавший к назначенному часу — Гдлевский. Румяное лицо с едва пробивающимися усиками сияло счастьем и восторгом.

— Есть! — закричал он еще с порога. — Есть третий знак! И точно в пятницу! Третью пятницу подряд! Вы слышали, слышали, что он поет? — Гдлевский торжествующе указал на окно, откуда еще минуту назад доносилось завывание шарманки и хриплые вопли старика. — Слышали, что он поет? «Хоть круть её, хоть верть!» И снова, и снова, и снова!

Однако шарманщик, будто назло, умолк. Судя по всему, никто из соискателей, кроме Коломбины, не удосужился вслушаться в припев идиотской песенки, поэтому заявление Гдлевского вызвало всеобщее

недоумение.

— Кого круть? Кого верть? — изумился Критон. — О чем вы, юноша?

— Шарманку, — возбужденно пояснил Гдлевский. — Да это совершенно неважно! Главное рифма: «верть — смерть». Это Знак! Несомненно! Третий! Я избран, избран!

— Погоди, погоди! — нахмурился Дож. — Что ты выдумываешь? Где этот шарманщик?

Все бросились к окну, но переулок был пуст — ни души. Старик растворился в сгустившейся темноте.

Гэндзи, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел в прихожую.

Все вновь обернулись к гимназисту. Розенкранц, не очень хорошо понимавший по-русски, спросил у брата:

— Was bedeutet «круть-верть»?^[5]

В его взгляде, обращенном на Гдлевского, читалась зависть.

— Почему он? Почему этот молокосос? — простонал Калибан. — Чем он лучше меня? Разве это справедливо? Дож, вы же обещали!

Просперо сердито вскинул руку:

— Молчите все! Мальчик, Смерть не терпит шулерства. Ты передергиваешь! Да, здесь долго выла какая-то шарманка, но я, разумеется, не прислушивался к песне. Возможно, он и пропел слово, рифмующееся со «смертью». Но ведь в песне не одно слово, а много. Почему ты решил выхватить именно «верть»? И слово-то какое нелепое! Ты прямо, как Розенкранц с его морсом.

Розенкранц залился краской. Несколько дней назад он тоже прибежал сияющий, гордый. Сказал, что он избранник Смерти, потому что ему ниспослан явный и несомненный Знак. Рассказал, что ужинал в кухмистерской Алябьева на Петровке. Перед завершением трапезы ему «от заведения» подали графин чего-то кровавого. На вопрос «что это?» официант «с загадочной улыбкой» отвечал: "Известно что — Mors^[6]". Розенкранц выскочил из залы недоужинав и бежал всю дорогу до дома Просперо.

Напоминание о морсе было встречено смехом, но Гдлевский ничуть не стусевался.

— Никакого шулерства. Ведь пятница, господа, третья подряд! Я ночь не спал, я знал, что так будет! На занятия не пошел, с раннего утра ходил по улицам, ждал Знака. Прислушивался к случайным разговорам, читал афиши, вывески. Я ничего не передергивал, я самым честным-благородным образом! На Арбате увидел вывеску «Арон Шперть. Скобяные товары».

Сто раз там проходил — никогда раньше такой лавки не замечал. Просто дыхание перехватило. Вот оно, думаю! Что за нелепая фамилия? Таких и не бывает вовсе. Шперть — смерть, это же очевидно! Но я хотел наверняка, чтоб никаких сомнений. Если бы строчка кончалась на «Шперть» — тогда да, а тут на «товары». Товары — гусары, сигары, не стары, фанфары, Стожары, корсары, гитары. Все не то. Не годится, мимо. И так на душе пусто стало. Нет, думаю, никакой я не избранник, а такой же, как все. Бреду сюда, чуть не плачу. Последняя надежда на книги с полки. Вдруг поворачиваю за угол и слышу: «Хоть круть ее, хоть верть! Хоть круть ее, хоть верть! Хоть круть ее, хоть верть!» Трижды, господа, трижды в третью пятницу! Сначала попал наугад в слово «жердь», потом открыл на слове «твердь», а теперь «верть»! Чего уж вам яснее? И рифма новая, такой еще не бывало! Пускай грамматически неправильная — это неважно! Что смотрите? — злорадно расхохотался гимназист. — Завидно? Я — избранник, не вы! Я, самый молодой! Да что с того, что молодой? Я — гений, из меня новый Лермонтов мог бы выйти. Смерть выбирает лучших, а не худших. Сначала Лорелею, теперь меня. А на Лермонтова мне наплевать! И на белый свет, и на всех вас! Крутите свою рулетку, щекочите свои убогие нервишки. А я говорю вам «адью». Принцесса выбрала меня! Меня, не вас!

Он с вызовом обвел присутствующих воспаленным взглядом и, не переставая триумфально посмеиваться, вышел вон.

— Стой! Немедленно вернись! — крикнул вслед Просперо.

Тщетно.

— По-хорошему этого Лермонтова следовало бы выдрать за уши, — задумчиво произнес Гораций, поглаживая клинышек бородки.

Калибан, весь белый от ярости, махнул сжатым кулаком:

— Наглый, самоуверенный, надутый полячишка! Как он смеет сравнивать себя с Лермонтовым! Он просто самозванец!

— Лермонтов тоже был наглый и надутый, — заметил Сирано. — Жалко, если мальчишка наделает глупостей. Талант и в самом деле незаурядный. Лермонтова хоть убили, а этот сам норовит в могилу залезть.

Расходились подавленные, даже какие-то придавленные.

На душе у Коломбины было тревожно, скверно — совсем не так, как перед заседанием, когда она медленно шла по вечерним улицам. Глупый, заносчивый мальчишка! Просперо совершенно прав. Принять смехотворные вопли хриплого бродяги за Знак Вечной Невесты! И ведь он непременно убьет себя, этот не отступится — хотя бы из гордости. Какая будет утрата для русской литературы, которая всего несколько дней назад

уже лишилась даровитейшей своей поэтессы!

На бульваре Коломбина остановилась, чувствуя, что не сможет просто вернуться домой и, как ни в чем не бывало, улечься спать.

Нужно остановить Гдлевского. Как угодно, любой ценой!

Но как? Что она может сделать?

Адрес ей был известен — однажды, еще в самые первые дни ее членства, Гдлевский рассказывал, что его родители живут в Коломне, а он на выпускной класс перевелся в московскую гимназию и снимает комнату в номерах Кляйнфельда на Масловке. Мальчик был ужасно горд тем, что живет сам по себе, как взрослый.

Ну, приедет она к нему, и что? Разве он послушает какую-то Коломбину, если уж сам Просперо не сумел его остановить? Теперь и дож ему не авторитет. Еще бы, ведь Гдлевский — «избранник», «гений».

Что же делать?

И ответ нашелся, причем быстро.

Среди «любовников» есть только один человек, способный уберечь полоумного поэта от безрассудного поступка. Если понадобится, то и насильно. Гэндзи! Ну конечно, вот кто всегда знает, что нужно делать. Как некстати, что он ушел и не слышал монолог гимназиста до конца!

Немедленно, не теряя ни минуты, ехать к Гэндзи. Только бы тот оказался дома. Гдлевский не убьет себя до тех пор, пока не напишет прощального стихотворения, а значит, можно успеть.

Адрес японского принца Коломбине был известен приблизительно. Кажется, Гэндзи говорил, что переехал из Ащеулова переулка в офицерский корпус Спасских казарм?

Извозчик доставил взволнованную барышню на Спасскую-Садовую, показал на длинную постройку казенного желто-белого цвета: «Вон он, офицерский».

Однако найти нужный номер оказалось непросто, потому что фамилии квартиранта она не знала. Коломбина подробно описала Гэндзи привратнику, не забыв и про заикание, и про седые виски. Сказала, что задевала куда-то визитную карточку, что память на имена просто ужасная — адреса, мол, запоминает, а фамилии и имена-отчества никак. Дело же к вышеописанному господину исключительной срочности. Чернобородый швейцар выслушал молча и, кажется, не поверил. Осмотрел заполошную девицу с головы до ног, пожевал губами, изрек:

— Почем нам знать, может, их сиятельство за такое гостевание нам шею намылят. Тут, барышня, казарма, посторонним не положено.

«Сиятельство»! Значит, ошибки нет — Гэндзи не обманул и

квартирует именно здесь. Коломбина так обрадовалась, что даже не обиделась на оскорбительный намек. Пускай чернобородый думает, что она какая-нибудь настырная обожательница или дамочка полусвета — какая разница!

Урок обращения с дворничко-швейцарским племенем, некогда преподанный принцем Гэндзи, был усвоен хорошо.

— Не намылит, — уверенно сказала Коломбина. — Еще и наградит. А пока вот, держите-ка.

И сунула служителю рубль.

Кербер сразу рычать перестал, завилял хвостом. Спрятав бумажку в картуз, сообщил:

— К их сиятельству какие только не ходют. Даже хитрованцы разбойного виду — не чета вашей милости. Их сиятельство проживают в квартире ихнего товарища, подполковника Смольянинова. Временным манером. Его высокоблагородие господин подполковник сами теперь в Китае, однако этого ихнего приятеля велено всегда запросто пускать на сколько пожелают. А звать их господин Неймлес, Эраст Петрович — вот как.

— Эраст Петрович Неймлес? — повторила Коломбина странное имя и не утерпела, спросила. — А почему вы именуете его «сиятельством»?

Швейцар загадочно ответил:

— У нас на настоящих господ глаз наметанный, хоть Замухрышкиным назовись. Только зря вы, барышня, приехали — нету господина Неймлеса, не возвращались еще. Камердинер ихний, тот дома.

— Японец? — на всякий случай уточнила Коломбина. — Маса?

— Масаил Мицуевич, — строго поправил служитель. — Очень обстоятельный господин. Желаете его видеть?

— Желаю. Раз уж Эраста... э-э-э... Петровича нет.

— Извольте. Моя супруга вас проводит. Феня! Фень! Проводь барышню! — крикнул привратник, обернувшись к открытой двери швейцарской. Ответа не было. — Видно, вышла. А я и не приметил, — удивился чернобородый. — Да ништо, не заплутаете. Вдоль стеночки идите. После повернете за угол — там ступенечки и крыльцо.

Нужное крыльцо отыскалось быстро, но на стук долго не открывали. В конце концов терпение Коломбины лопнуло — тут ведь каждая минута была на счету, и она сердито ударила по створке ладонью. Дверь оказалась незаперта. Скрипнула, подалась, и в следующий миг гостя уже была в маленькой, спартанского вида прихожей, где на вешалке рядом с военными шинелями и цивильной одеждой висели какие-то ремешки, хлысты,

уздечки и прочая сбруя.

— Маса, где вы? — позвала Коломбина. — У меня срочное дело! Скоро ли будет господин Неймлес?

Из-за двери, украшенной парижской афишей с изображением стремительных танцовщиц, донеслись шуршание и шепот. Осердившись, Коломбина решительно двинулась на звук, дернула ручку и замерла.

Японец стоял в манишке и манжетах, но без брюк и помогал дородной, много выше его, особе женского пола втиснуться в ситцевую юбку.

Явление нежданной посетительницы произвело эффект. Пышная особа взвизгнула и присела, прикрыв руками впечатляющий бюст, а удивительный камердинер господина Неймлеса приложил круглые ладошки к голым ляжкам и церемонно поклонился.

— Какое деро, Коромбина-сан? — спросил он, разогнувшись. — Сротьное-сротьное ири просто сротьное?

— Срочное-срочное, — ответила она. На неодетую толстуху и безволосые ноги японца старалась не смотреть, хотя сейчас было не до условностей. — Нужно немедленно ехать и спасать человека, иначе произойдет непоправимое. Где ваш хозяин?

Маса насупил редкие бровки, ненадолго задумался и решительно объявил:

— Гаспадзин нету. И терефон не звонир. Теровека спасать буду я. — Он поклонился своей пассии, все еще не вышедшей из оцепенения, и подтолкнул ее к выходу. — Отень вам брагодарен, Феня-сан. Прошу рубить и зрывать.

Феня (очевидно, та самая, которую не мог дозваться привратник) подхватила башмаки, кофту, чулки и выскочила за дверь, Коломбина же отвернулась, чтобы азиат мог спокойно завершить свой туалет.

Минуту спустя они уже спешили к воротам, причем Маса так ходко перебирал своими короткими ножками, что спутница за ним едва поспевала.

Долго ехали на извозчике, потом никак не могли отыскать в темноте номера Кляйнфельда, наконец нашли: трехэтажный серый дом напротив Петровского парка. Гдлевский, как и положено поэту, снимал комнатку на чердаке.

Когда поднимались по лестнице (японец впереди, Коломбина следом), она всё повторяла: «Только бы успеть, только бы успеть».

Дверь оказалась заперта. На стук не открыли.

— Спуститься за дворником? — спросила Коломбина дрожащим голосом.

Маса ответил:

— Не нада. Тють-тють в сторонку, Коромбина-сан.

Она отступила. Японец, издав своеобразный утробный звук, подпрыгнул, с ужасающей силой ударил ногой в створку, и дверь с грохотом слетела с петель.

Столкнувшись плечами в узком коридорчике, ринулись в комнату.

Первое, что Коломбина заметила в сумраке — прямоугольник распахнутого окна. И еще ударил в нос острый, странно знакомый запах. Так пахло в мясном ряду, когда она в детстве с кухаркой Фросей ходила на базар, — покупать требуху и кишки для домашней колбасы.

— Да, нада быро отень сרותно, совсем сרותно, — вздохнул Маса и чиркнул спичкой, зажигая керосиновую лампу.

Коломбина закричала.

Поэт лежал ничком, упав лицом в большую поблескивающую лужу. Был виден светло-русый затылок, весь мокрый от крови, бессильно раскинутые руки.

Опоздали!

Как же он торопился — вот первое, что подумала Коломбина.

Содрогнувшись, отвернулась. На столе, возле лампы, лежал листок. Подошла на негнущихся ногах. Прочла ровные, без единой помарки строчки:

Внезапно качнулись гардины —
Сквозь сон зашептала парча,
На старом бюро без причины
Взяла и погасла свеча.

Какие-то струны задело
Перстами грозových теней.
Неужто Она разглядела
Мерцанье лампы моей?

Ужель наконец-то стихает
Болезненных грёз круговерть,
И жизнь, как свечу, задувает
Дыханием девственным Смерть?

Не та, о которой мы пишем,
Едва научась рифмовать, —

Иная, которою дышим,
Когда уже нечем дышать!

— Господи, — простонала она. — Ну куда же он так спешил?

— Паскарей уйти, пока не заметири, — откликнулся Маса, зачем-то уткнувшись носом в подоконник, а потом и вовсе высунулся наружу. — Сдерар деро и порез обратно.

— Кто полез? — всхлипнула Коломбина. — Куда полез? О чем вы?

Японец ответил неожиданное:

— Убийца. Врез по позярной рестнице, проромир тереп и вырез обратно.

— Какой убийца? Гдлевский сам наложил на себя руки! Ах, ну да, вы ведь ничего не знаете!

— Сам? — Маса поднял с пола обрезок железной трубы. — Вот так? — Он снял котелок и изобразил, будто бьёт себя сзади по затылку. — Так, Коромбина-сан, отень трудно. Нет, мородой теровек сидер у стора. Кто-то зарез в окно. Мородой теровек перепугарся, побезяр к двери. Убийца догнар и стукнур зерезкой по макуське.

Он присел на корточки над телом, поковырял пальцем в кровавой каше. Коломбина схватилась за край стола, потому что комната вдруг поплыла у ней перед глазами.

— Терепуська вдре-без-ги, — с видимым удовольствием выговорил японец звучное слово. — Отень, отень сирьный убийца. Таких маро. Это хоросё. Гаспадизну будзет регче найти.

Коломбина всё не могла прийти в себя от нового потрясения. Так Гдлевский не покончил с собой? Его убили? Но кто? Ради чего? Бред, морок!

— Надо послать за полицией, — пробормотала она.

Хотелось только одного — поскорей выбраться из этой жуткой комнаты с ее запахом свежей убоины.

— Я сама. Я спущусь к дворнику!

Маса покачал головой.

— Нет, Коромбина-сан. Снатяра гаспадзин. Пусчь смотрит. Порицию потом. Зьдите тут. Я иду искачь терефон.

Он отсутствовал минут двадцать, и это были худшие двадцать минут в жизни Коломбины. Именно об этом она думала, стоя у окна и глядя на огоньки, что светились за черной массой Петровского парка. Обернуться боялась.

Когда сзади послышался легкий шорох, она зажмурилась и втянула голову в плечи. Представилось, как с пола поднимается мертвый Гдлевский, поворачивает свою расколотую голову и движется к окну, растопырив руки. Нет ничего хуже, чем стоять к неведомой опасности спиной. Взвизгнув, Коломбина развернулась.

Зря. Лучше было бы этого не делать.

Гдлевский с пола не поднялся, лежал всё так же, ничком, но его волосы непонятным образом шевелились. Присмотревшись, Коломбина увидела, как в ране копошатся, принюхиваясь, две мыши.

Подавившись криком, она ринулась к двери, вылетела на лестницу и столкнулась с поднимающимся Масой.

— Звонир из нотной аптеки, — доложил он. — Гаспадин дома. Сейтас приедет. Отень вам благодарен, Коромбина-сан. Вам мозьно ехачь домой. Я дорзен бычь тут и не могу проводзичь вас до извосика. Мне нет проссения. — И японец виновато поклонился.

* * *

Господи, как же она бежала от проклятых номеров Кляйнфельда! До самой Триумфальной — только там встретился ночной извозчик.

Немного отдышавшись и собравшись с мыслями, вдумалась в смысл случившегося. Смысл получался простым, ясным, страшным.

Раз Гдлевский не покончил с собой, а убит (Маса неопровержимо это доказал), то совершить это могло лишь одно существо — если, конечно, возможно назвать эту силу существом.

Никто не влезал в чердачное окно по пожарной лестнице. Туда вошел не некто, а Нечто. Вот и объяснение удара чудовищной, нечеловеческой мощи.

— *Смерть живая*, — повторяла Коломбина, глядя широко раскрытыми глазами в сутулую спину извозчика.

Существо, имя которому Смерть, может разгуливать по городу, заглядывать в окна, бить наотмашь. Может любить и ненавидеть, может чувствовать себя оскорбленным.

В чем заключалось оскорбление, нанесенное Смерти Гдлевским, понятно. Высокомерный мальчишка объявил себя ее избранником, не имея на то никаких прав и произвольно выдумав Знаки, которых на самом деле не было. Он, действительно, самозванец, и за это его постигла участь всех самозванцев.

Величие случившегося повергало в трепет.

Коломбина безропотно дала вымогателю-извозчику целых два рубля, хотя красная цена за поездку была семьдесят пять копеек. Как поднялась к себе на пятый этаж — не помнила.

Когда снимала свой траурный лиловый фартук, из кармана выпал квадратик плотной белой бумаги. Рассеянно подняла, прочла слово, начертанное красивыми готическими буквами: **Liebste**^[7].

Сначала улыбнулась, вообразив, что это застенчивый Розенкранц наконец отважился на решительные действия.

Потом вспомнила: за весь вечер немчик ни разу к ней не приблизился, а стало быть, никак не мог подсунуть записку.

Кто же это написал? И почему по-немецки?

В немецком языке Смерть мужского рода — Der Tod.

— Вот и мой черед настал, — сказала Коломбина своему отражению в зеркале.

Губы у отражения улыбались, глаза испуганно таращились.

Коломбина открыла дневник и попыталась описать свои чувства.

Вывела подрагивающей рукой: «Неужели я *избрана*! Как весело и как страшно!»

III. Из папки «Агентурные донесения»

Его высокоблагородию подполковнику Бесикову

(В собственные руки)

Милостивый государь Виссарион Виссарионович!

Признаться, Ваша записка, доставленная мне утром с нарочным, изрядно меня фраппировала. Я уже знал об убийстве Гдлевского, потому что еще прежде Вашего посыльного у меня побывал один из «любовников», донельзя взбудораженный этим невероятным известием. Ваша просьба оказать посильную помощь сыскной полиции поначалу вызвала во мне сильнейшее возмущение. Я счел, что Вы совершенно утратили чувство меры и сводите меня до положения мелкого осведомителя с Хитровки.

Однако, немного успокоившись, я взглянул на дело с иной стороны. Случилась истинная трагедия. Погиб большущий, много обещавший талант — возможно, новый Лермонтов или даже Пушкин. Погиб в восемнадцать лет, не успев сделать сколько-нибудь заметный вклад в отечественную словесность. Несколько ярких стихотворений войдут в антологии и сборники, а более ничего от бедного юноши и не останется. Какая бессмысленная и горькая утрата! Если бы Гдлевский наложил на себя руки, как намеревался, это была бы трагедия, но его убийство — это хуже, чем трагедия. Это национальный позор. Долг всякого патриота, дорожащего честью России, внести посильный вклад в прояснение этой постыдной истории. Да-да, я считаю себя истинным русским патриотом — ведь известно, что именно из инородцев (как Вы и я) и выходят самые искренние, горячие патриоты.

И я решил сделать всё, что в моих силах, дабы помочь Вашим коллегам из полиции. Я подверг анализу сведения, которые Вы сообщаете об обстоятельствах преступления, и меня поразило следующее.

Непонятно, зачем кому-то вообще понадобилось убивать человека, который и без того собирался через минуту или через час покончить с собой?

А если уж из неких целей кто-то все же пошел на убийство, то почему не замаскировал преступление под добровольную смерть? Никому бы и в

голову не пришло заподозрить злодеяние при наличии готового предсмертного стихотворения.

Первое, что приходит в голову — случайное совпадение. В тот самый час, когда Гдлевский готовился к самоубийству (а Вы пишете, что у него в ящике стола уже и заряженный пистолет был наготове), в окно влез грабитель и, ничего не зная о роковом намерении жильца, стукнул его по голове обрезком трубы. Своего рода злая шутка судьбы. Вы сообщаете, что полиция именно эту версию считает наиболее вероятной, и спрашиваете моего мнения.

Не знаю, что и ответить.

Думаю, Вам будет небезынтересно узнать, как оценивают случившееся члены кружка. Разумеется, история произвела на всех тяжелое впечатление. Преобладающее чувство — страх, причем самого мистического свойства. Перепуганы все ужасно. О случайно залезшем в окно грабителе никто даже не поминает. Общее мнение состоит в том, что Гдлевский своей бескрайней самонадеянностью прогневал Богиню, и за это она разбила на куски его заносчивую голову. «Никто не смеет заманивать Вечную Невесту к алтарю обманом», — так выразил эту мысль наш председатель.

Я, как Вам известно, материалист и в чертовщину верить отказываюсь. Уж скорее поверю в случайного грабителя. Только, если это был грабитель, то зачем он имел при себе обрезок трубы? И потом, вы пишете, что из квартиры ничего не взято. Разумеется, всему можно найти объяснение. Орудие, предположим, он захватил с собой на всякий случай — для устрашения. А ничего не похитил, потому что испугался содеянного и бежал. Что ж, и это возможно.

Впрочем, я отлично понимаю, что моего мнения Вы спросили более из вежливости, памятуя реприманд по поводу цирлихов-манирлихов, на самом же деле Вам нужны не гипотезы, а наблюдения. Что ж, извольте.

Я очень внимательно следил сегодня за поведением всех соискателей — не обнаружится ли чего-то подозрительного или странного. Скажу сразу, что подозрительного ничего не видел, но зато сделал одно поразительное открытие, которое Вас наверняка заинтересует.

В рулетку нынче не играли. Все говорили только о смерти Гдлевского и о смысле этого события. Разумеется, царили возбуждение и смятение, каждый старался перекричать другого, и нашему дожу с трудом удавалось удерживать в руках штурвал этого потерявшего управление корабля. Я тоже для виду подавал какие-то реплики, но главным образом зорко наблюдал за лицами. Вдруг замечаю, что Сирано (тот, кого в прежних донесениях я называл Носатым) словно ненароком отошел к книжным полкам и обвел их

взглядом — как бы совершенно рассеянным, однако же мне показалось, что он ищет нечто вполне определенное. Оглянувшись — не следит ли кто (и это сразу усилило мое любопытство) — он вынул один из томов и принялся перелистывать страницы. Зачем-то посмотрел на свет, пощипал палец, мазнул обрез, даже попробовал его на язык. Не знаю, что означали его манипуляции, но я был заинтригован.

Дальше же было вот что. Сирано поставил книгу на место и повернулся. Меня поразило выражение его лица — оно все разругалось, глаза заблестели. Изображая скучливость, он медленно прошелся по комнате, а оказавшись подле двери, выскользнул в прихожую.

Я осторожно двинулся следом, думая, что сейчас он выйдет на улицу и тогда я прослежу за ним — очень уж странно себя вел. Однако Сирано прошел темным коридором вглубь квартиры и прощмыгнул в кабинет. Я неслышно двинулся за ним, припал ухом к двери. В кабинет можно попасть и другим путем — из гостиной через столовую, но это могло бы привлечь внимание, чего Сирано явно хотел избежать, и вскоре мне стало ясно, почему. В кабинете у Просперо телефонный аппарат, ради которого и был предпринят весь маневр.

Сирано покрутил рычажок, вполголоса назвал номер, который я на всякий случай запомнил: 38–45. Потом, прикрыв ладонью раструб, сказал: «Ромуальд Семенович? Это я, Лавр Жемайло. Номер уже сдали?... Отлично! Задержите. Оставьте колонку на первой полосе. Строк на шестьдесят. Нет, лучше на девяносто... Уверю вас: это будет бомба. Ждите, немедленно выезжаю». Его голос дрожал от азарта.

Вот Вам и Сирано, хорош «соискатель»! А наши умники всё головы ломали, откуда у репортера «Курьера» такая осведомленность о внутренней жизни клуба. Но каков газетчик! Давно зная, где собираются будущие самоубийцы и кто ими руководит, мистифицирует публику, изображает неустанные поиски, а тем временем сделал себе имя и, надо полагать, заработал недурные деньги. Кто знал Лавра Жемайло еще месяц назад? А теперь он звезда журналистики.

Репортер так стремительно выскочил обратно в коридор, что я едва успел прижаться к стене. Он меня не заметил — поспешил к выходу. Дверь в кабинет осталась нараспашку. И тут произошло еще одно странное явление. Противоположная дверь — та, что ведет в столовую и была немного приоткрыта, вдруг скрипнула и сама по себе закрылась! Клянусь вам, я не выдумываю. Сквозняка не было. От этого зловещего скрипа мне стало не по себе. Задрожали колени, сердце забилося учащенно, так что даже пришлось проглотить две пилюли кординума. Когда же я взял себя в

руки и тоже выбежал на улицу, журналист уже исчез.

Хотя что толку было бы за ним следить — и так понятно, что он отправился в редакцию.

Очень любопытно, что за «бомбу» он приготовил для читателей?

Ничего, мы узнаем это из утреннего выпуска «Московского курьера».

Примите заверения в совершеннейшем к Вам почтении,

ZZ

17 сентября 1900 г.

Глава пятая

I. Из газет

ПОГИБ ЛАВР ЖЕМАЙЛО

Борец с самоубийствами сам становится самоубийцей

Мир московской журналистики потрясен скорбной вестью.

Наш цех лишился одного из самых блестящих своих перьев. Угасла яркая звезда, совсем недавно появившаяся на газетном небосводе.

Полиция ведет расследование, изучает все возможные линии, включая и версию о ритуальной казни, свершенной «Любовниками Смерти» над отважным журналистом, однако всем, кто читал блестящие репортажи и глубокие аналитические статьи Л. Жемайло в «Московском курьере», картина произошедшего ясна. Члены тайного клуба умерщвляют себя, не других. Нет, произошло не убийство, а трагедия по-своему еще более прискорбная. Наш собрат взвалил на свои плечи слишком тяжкую ношу, быть может, вовсе непосильную для смертного, и эта ноша его подломила. Теперь он за роковой чертой, присоединился к тому самому «большинству», о котором писал в своей нашумевшей, провидческой статье «Есть много на земле и в небесах такого...»

Мы знали Лавра Генриховича как неустоимого борца со страшным явлением, которое многие уже называют «чумой двадцатого века» — эпидемией беспричинных самоубийств, выкашивающей ряды образованной молодежи. Покойный был истинным крестоносцем, бросившим вызов этому ненасытному, кровожадному дракону. Давно ли появился в Первопрестольной скромный ковенский репортер, добившийся известности на провинциальном поприще и, как многие перед ним, приехавший покорять Москву? Здесь ему вновь пришлось начать с самого низа корреспондентской иерархии — с репортерской поденщины, мелкого хроникерства, описания пожаров и незначительных происшествий. Но талант всегда пробьет себе дорогу, и уже очень скоро вся Москва, затаив дыхание, наблюдала, как неустоимый журналист идет по следу зловещих «Любовников Смерти». В последние недели Лавр Генрихович почти не появлялся в редакции. Наши коллеги говорили, что, увлеченный расследованием, он чуть ли не перешел на конспиративное положение и переправлял свои репортажи городской почтой — вероятно, опасался

разоблачения со стороны «Любовников Смерти» или чрезмерного внимания гг. полицейских. Вот истинная преданность своему делу!

Увы! Медик, врачующий эпидемических больных, сам рискует подцепить заразу. Но здесь, пожалуй, уместнее иное сравнение — с теми подвижниками здравоохранения, кто намеренно и сознательно прививает себе бациллу смертельно опасного недуга, дабы лучше изучить его механизм и тем самым спасти других.

Бог весть, что происходило в душе нашего коллеги в последний вечер его жизни. Известно только одно — до самой последней минуты он оставался истинным журналистом. Позавчера, в одиннадцатом часу, он позвонил метранпажу «Московского курьера» г. Божовскому и потребовал задержать номер, потому что есть «бомба» для первой полосы.

Теперь понятно, что за «бомбу» имел в виду покойный — собственное самоубийство. Что ж, финал карьеры Л. Жемайло и в самом деле вышел эффектным. Жаль только, в утренний выпуск «Московского курьера» эта кошмарная новость так и не попала. Судьба напоследок сыграла с журналистом злую шутку — мертвое тело было обнаружено лишь на рассвете, когда номер газеты уже вышел из типографии.

А ведь самоубийца выбрал для своего отчаянного поступка весьма приметное место — Рождественский бульвар, откуда рукой подать до Трубной площади. По всему, кто-то из поздних прохожих, или городской, или ночной извозчик должны были заметить висящее на осине тело, к тому же освещенное стоящим неподалеку газовым фонарем, но нет — труп увидел лишь подметальщик, вышедший на бульвар сгребать листья уже в шестом часу утра.

Спи спокойно, мятежная душа. Мы доведем начатое тобою дело до конца. Наша газета дает обет поднять павший стяг и нести его дальше. Демон самоубийства будет изгнан с улиц нашего христоролюбивого города. «Московские ведомости» продолжат журналистское расследование, начатое коллегами из «Курьера». Следите за нашими публикациями.

Редакция

«Московские ведомости» 19 сентября (2 октября) 1900 г.

1-ая страница

II. Из дневника Коломбины

Избрана!

"После того, как в ридикюле обнаружилась вторая карточка с единственным словом **Bald**^[8], написанным уже знакомыми буквами, сомнений не осталось: я избрана, избрана!

Мои вчерашние излияния по этому поводу были смехотворны — кудахтанье перепуганной курицы. Я не просто перечеркнула эти две странички, я вырвала их. Позднее вставлю что-нибудь более уместное.

Позднее! Когда ж позднее, если написано «bald»?

От этого короткого, звонкого слова у меня будто гуд в голове. Я хожу сама не своя, натыкаюсь на прохожих, и мне попеременно делается то жутко, то радостно. Главное же из переполняющих меня чувств — гордость.

Коломбина стала совсем другой. Она, быть может, уже никакая не Коломбина, а желанная и недостижимая для простого смертного Принцесса Греза.

Все прочие интересы и обстоятельства отодвинулись, утратили всякое значение. Теперь у меня новый ритуал, заставляющий трепетать мое сердце: вечером, вернувшись от Просперо, я достаю два белых квадратика, смотрю на них, благоговейно целую и убираю в выдвижной ящик. Я любима!

Перемена, произошедшая во мне, столь велика, что я не считаю нужным ее скрывать. Все в клубе знают, что Смерть шлет мне записки, но на просьбы показать эти послания я отвечаю отказом. Особенную настойчивость проявляет Гэндзи. Как человек умный, он понимает, что я не фантазирую, и очень обеспокоен — уж не знаю, из-за меня ли или же из-за того, что его материалистические воззрения оказались под угрозой.

Но заветных посланий я никому не покажу — они мои и только мои, адресованы мне и предназначены лишь для моих глаз.

На наших собраниях я теперь держусь истинной королевой. Ну если не королевой, то фавориткой или невестой короля. Я обручена с Венценосным Женихом. Ифигения и Горгона лопаются от зависти, Калибан шипит от злобы, а Дож взирает на меня тоскливыми глазами побитой собаки. Никакой он не Просперо, повелитель духов земли и эфира. Он даже

не Арлекин. Он такой же Пьеро, как маменькин сынок Петя, некогда вскруживший голову иркутской дурочке своими завитыми локонами и трескучими стишками.

Вечера у Дожа — это мой триумф, мой бенефис. Но есть и другие часы, когда подступает слабость. И тогда начинают одолевать сомнения.

Нет-нет, в подлинности Знаков я не сомневаюсь. Меня терзает другое: готова ли я? Не жаль ли мне будет уходить из света во тьму?

Итог всякий раз один. Может, и жаль, но выбор будет сделан без колебаний. Упасть в бездну, в темные объятия неведомого, желанного Возлюбленного.

Теперь ведь совершенно ясно, со всей очевидностью доказано, что никакой смерти нет — во всяком случае такой смерти, которую я представляла себе прежде: небытие, беспросветность, ничто. Нет никакой смерти, а есть Смерть. Ее королевство — волшебная страна, великая, могучая и прекрасная, где меня ждут такое блаженство и такие прозрения, что от одного только предвкушения сладко ноет сердце. Обычные люди вползают в эту сказочную страну воющими от ужаса, хнычущими, напуганными, сломленными смертельной болезнью или дряхлостью, с угасшими телесными и духовными силами. Я же войду в чертог Смерти не жалкой приживальщицей, а драгоценной избранницей, долгожданной гостьей!

Мешает страх. Но что такое страх? Острые коготки, которыми глупая, жалкая, предательская плоть цепляется за жизнь, чтобы вымолить у судьбы отсрочку — на год, на неделю, хоть на минуту.

Ну да, страшно. Очень страшно. Особенно боли в последний миг. А еще больше — картин, которые рисует трусливый мозг: разрытая яма в земле, стук сырых комьев о крышку гроба, могильные черви в глазницах. И еще что-то такое из детства, из «Страшной мести»: «В бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю».

Чушь, чушь, чушь".

«Мне пора»

Спорили жарко, перекикивая друг друга.

— Место, где проходят заседания — секрет Полишинеля! — доказывал прозектор Гораций. — Сирано наверняка выдал адрес редакционному начальству! Не удивлюсь, если из соседних окон за домом

следят газетные писаки. А однажды мы выйдем после заседания, и навстречу нам вспыхнут магниевые блицы! Нужно временно прекратить наши собрания.

— Глупость и чушь! — горячо возражал ему Розенкранц. — Ви малoverный человек! Нужно доверять Schicksal!

— Судьбе, — пришел ему на выручку брат.

— Да-да, зудьбе! Пусть будет, как будет!

— Навряд ли Сирано проболтался, — поддержал молодого человека Критон. — Зачем бы он стал резать курочку, которая несла ему золотые яйца?

А простодушная Ифигения, похлопав глазками, сказала то, о чем молчали прочие:

— Господа, лучше уж вместе, а? Вы же видите, Она играет по собственным правилам. Кого хочет, того и забирает. Страшно сидеть одной дома, там даже не поговоришь ни с кем, а здесь все свои...

«Любовники» переглянулись, наступила пауза. Мы похожи не то на соучастников преступления, не то на осужденных в ожидании казни, подумала Коломбина.

— Да где же Просперо? — жалобно спросил Петя, оглядываясь на дверь. — Что он-то думает?

Гэндзи отсел в угол — выкурить сигару. Хладнокровно выпускал струйки голубоватого дыма, в разговоре участия не принимал. Помалкивал и Калибан, слушавший спорщиков со снисходительной улыбкой.

Бухгалтер нынче вообще держался таинственно. Куда только подевалась всегдашняя нетерпеливая порывистость, с которой он дожидался спиритического сеанса или игры в «колесо Смерти»?

Калибан подал голос лишь тогда, когда в салон вошел дож, облаченный в черную судейскую мантию. Тут самый неистовый из паладинов Смерти вышел на середину комнаты и выкрикнул:

— Полно нести вздор! Лучше послушайте меня! Пришел и на мою улицу праздник! Я избран! Я тоже получил послание! — Он помахал каким-то листком. — Вот, можете удостовериться. Я ничего не прячу. Это факт, а не плод фантазии.

Последняя реплика, сопровождаемая презрительным взглядом, предназначалась Коломбине.

Все сгрудились вокруг бухгалтера. Из рук в руки переходил маленький, в одну восьмую писчего листа прямоугольник, на котором печатными буквами было написано: **«Испытан, одобрен, призван»**.

— Именно, что испытан! — возбужденно объяснял Калибан. — На

терпение и на верность. Теперь понятно, отчего Она так долго меня мучила. Проверяла на постоянство. И я прошел экзамен. Видите — «одобрен»! И призван! Я пришел попрощаться, пожелать всем вам такой же удачи, извиниться за то, что иногда бывал резок. Не поминайте лихом Савелия Папушина, наимерзейшего из всех земных грешников. Таково мое настоящее имя, теперь что уж скрывать — всё одно в газетах пропишут. Помилован по амнистии, вчистую! Поздравьте меня, господа! И еще я хочу поблагодарить вас, дорогой Учитель. — Он прочувствованно схватил Просперо за руку. — Если бы не вы, я так и не вышел бы из сумасшедшего дома. Катался бы по полу и выл, как собака. Вы вернули мне надежду и не обманули ее! Спасибо!

Калибан смахнул красной ручищей слезу, растроганно высморкался.

— А ну позвольте-ка.

Просперо со скептическим видом взял бумажку, повертел ее так и этак.

— Что ж, испытывать так испытывать, — задумчиво произнес он и вдруг поднес листок к свечке.

Послание сразу же загорелось, чернея и сворачиваясь. Бухгалтер истошно взвыл:

— Что вы наделали! Это же послание Вечной Невесты!

— Тебя разыграли, бедный Калибан, — покачал головой Дож. — Зачем так жестоко шутить, господа?

У Калибана от ужаса глаза полезли из орбит.

— Как... как вы можете, Учитель?!

— Успокойся, — строго сказал ему Просперо. — Это послание написано не Смертью, а человеком. В старинных книгах совершенно определенно сказано, что письма от Иносущего в огне не горят.

Тут Дож вдруг обернулся к Коломбине:

— Ты говоришь, что Смерть уже дважды писала тебе. Скажи, пробовала ли ты записки на воспламеняемость?

— Конечно, пробовала, — быстро ответила Коломбина, но внутри у нее всё так и сжалось.

Розыгрыш! Подлый розыгрыш! Кто-то из соискателей подсунил ей эти листочки, чтобы поглумиться! Выбрали двух самых глупых, ее и этого идиота Калибана?

Сразу же обожгла догадка. Жертва обмана метнула испепеляющий взгляд на Горгону — не ухмыляется ли. Та ответила взором, исполненным еще более жгучей неприязни. Ага, выдала себя!

От обиды и разочарования Коломбина закусила губу. Подлая, подлая, подлая!

Ничего, признаться мерзавка не посмеет — Просперо с позором выгонит ее из клуба.

Глядя Горгоне прямо в глаза, Коломбина с вызовом сказала:

— И спичкой жгла, и свечкой — не горят. А моя кобра [она взяла за шейку Люцифера, нырнувшего в декольте, на теплое местечко, и показала всем его ромбовидную голову] цапнула бумагу клыками и в ужасе отползла!

Уж врать, так врать.

— Я просил тебя не носить сюда эту гадость, — сказал Просперо, глядя на змею с отвращением. Он невзлюбил бедняжку еще с той первой ночи, когда уж цапнул его за палец.

Коломбина хотела заступиться за своего наперсника, но не успела.

— У нее не горит, а моя сгорела?! — простонал убитый горем Калибан и заорал так, что качнулось пламя свечей. — Это нечестно! Несправедливо! И дюжий бухгалтер разрыдался, как ребенок.

Пока все его утешали, Коломбина потихоньку вышла, побрела по направлению к бульвару.

Впору было самой расплакаться. Какая гнусная, кощунственная шутка!

Было безумно жалко мистического подъема последних дней, сладостного замиранья сердца, а более всего — ощущения своей избранности.

Мести, душа жаждала мести! Лучше всего будет потихоньку шепнуть Калибану, кто из членов клуба забавляется сочинением записочек. Калибан не из джентльменов, он миндальничать не станет. Расквасит Горгоне всю ее лисью мордочку. Хорошо бы нос сломал или зуб выбил, размечталась ожесточившаяся барышня.

— Мадемуазель К-Коломбина! — раздался сзади знакомый голос. — Вы позволите вас проводить?

Кажется, принц Гэндзи со своей сверхъестественной проницательностью разглядел, какая буря бушует в ее душе.

Поравнявшись с Коломбиной, он как бы ненароком взглянул в покрасневшее лицо лжеизбранницы. Заговорил не о записках и не о Калибановой истерике, а совсем о другом, и голос был не обычный, слегка насмешливый, а очень серьезный.

— Наши заседания всё больше напоминают фарс, но смеяться не хочется. Слишком много т-трупов. Я таскаюсь в этот нелепый клуб уже три недели, а результат нулевой. Нет, что я говорю! Не нулевой — отрицательный! У меня на глазах погибли Офелия, Лорелея, Гдлевский, Сирано. Я не смог их спасти. А сейчас я вижу, как этот черный водоворот

засасывает вас!

Ах, вашими бы устами, тоскливо подумала Коломбина, но виду не подала — напротив, скорбно сдвинула брови. Пусть поволнуется, пусть поуготоваривает.

А Гэндзи и в самом деле, кажется, волновался — говорил всё быстрее, да ещё рукой в перчатке себе помогал, когда не мог сразу найти нужное слово:

— Зачем, зачем подгонять смерть, зачем облегчать ей задачу? Жизнь — такая хрупкая, беззащитная д-драгоценность, ей и без того ежеминутно угрожает мириад опасностей. Умереть ведь всё равно придется, эта чаша вас не минует. Зачем же уходить из зала, не досмотрев спектакль до конца? А вдруг пьеса, в которой, между прочим, каждый исполняет главную роль, ещё удивит вас неожиданным развитием сюжета? Наверняка удивит, причем не раз и, возможно, самым в-восхитительным образом!

— Послушайте, японский принц Эраст Петрович, чего вы от меня хотите? — озлилась на проповедь Коломбина. — Какие такие восхитительные сюрпризы сулит мне ваша пьеса? Ее финал известен мне заранее. Занавес закроется в каком-нибудь 1952 году, когда я, выходя из электрического трамвая (или на чём там будут ездить через полвека), упаду, сломаю шейку бедра и буду две недели или месяц валяться на больничной койке, пока меня, наконец, не приберёт воспаление легких. И, конечно же, это будет больница для бедных, потому что все свои деньги к тому времени я потрачу, а новым взяться неоткуда. К этому самому 1952 году я превращусь в морщинистую, жуткую старуху семидесяти трех лет, с вечной папиросой в зубах, никому не нужную, непонятную новому поколению. По утрам я буду отворачиваться от зеркала, чтобы не видеть, во что превратилось мое лицо. Семьи у меня с моим характером никогда не появится. А если даже и появится — одиночество от этого бывает еще безысходней. Спасибо вам за такую участь. Зачем и кому, по-вашему, нужно, чтобы я дожила до этого? Богу? Но ведь вы, кажется, не верите в Бога?

Гэндзи слушал, болезненно морщась. Ответил горячо, с глубокой убежденностью:

— Да нет же, нет! Милая Коломбина, нужно доверять жизни. Нужно без страха вверять себя ее течению, потому что жизнь бесконечно мудрее нас! Она все равно обойдется с вами по-своему, иногда довольно жестко, но в конечном итоге вы поймете, что она была п-права. Она всегда права! Ведь кроме тех мрачных перспектив, которые вы рисуете, жизнь обладает еще и многими волшебными качествами!

— Это какими же? — усмехнулась Коломбина.

— Да хотя бы все той же высмеянной вами особенностью преподносить неожиданные и драгоценные дары — в любом возрасте, в любом физическом состоянии.

— Какие? — снова повторила она и снова усмехнулась.

— Бесчисленные. Небо, трава, утренний воздух, ночное небо. Любовь во всем многообразии ее оттенков. А на закате жизни, если заслужите, — успокоенность и мудрость...

Почувствовав, что его слова начинают действовать, Гэндзи усилил натиск:

— Да и, если уж говорить о старости, с чего вы взяли, что этот ваш 1952 год окажется так уж ужасен? Я, например, уверен, что это будет замечательное время! Через полвека в России установится повсеместная грамотность, а это означает, что люди научатся быть терпимее друг к другу и отличать красивое от безобразного. Электрический трамвай, о котором вы упомянули, станет самым обычным средством передвижения. По небу будут скользить летательные аппараты. Появится еще много удивительных чудес техники, которые сегодня нам невозможно даже вообразить! Вы ведь так молоды. Тысяча девятьсот пятьдесят второй год, это немыслимо далекое время, для вас вполне достигим. Ах, да что мы с вами уперлись в 1952 год! К тому времени медицина разовьется так, что продолжительность жизни намного увеличится, и само понятие старости отодвинется на более поздний возраст. Вы наверняка проживете и девяносто лет — и увидите 1969 год! А может быть, и сто лет — и тогда заглянете в 1979-й. Только представьте себе! Разве у вас не захватывает дух от этих цифр? Из одного любопытства стоит выдержать все тяжкие испытания, которые, судя по всему, сулит нам начало нового века. Пробриться через теснины и пороги истории, чтобы потом сполна насладиться вольным, равнинным ее течением.

Как красиво он говорил! Коломбина поневоле заслушалась и залюбовалась. Подумала: а ведь он прав, тысячу раз прав. И еще подумала: почему он упомянул о любви? Просто для фигуры речи или же в этих словах содержится особый смысл, предназначенный только мне одной?

Отсюда ее мысли приняли иное направление, далекое от философствований и попыток угадать будущее.

Что представляет собой личная жизнь Эраста Петровича Неймлеса, задалась вопросом Коломбина, искоса поглядывая на красавца. Судя по всему он — застарелый холостяк, из тех, кому, как говорила няня, чем жениться, милей удавиться. Неужто так, год за годом, и довольствуется

компанией своего японца? Ох, непохоже — чересчур уж хорош собой.

Вдруг сделалось ужасно жаль, что он не встретился ей раньше, до Просперо. Может быть, всё вышло бы совсем по-другому.

Они расстались на углу Старопанского переулка. Гэндзи, сняв цилиндр, поцеловал задумчивой барышне руку. Перед тем как войти в подъезд, она оглянулась. Он стоял на том же месте, под фонарем. Цилиндр держал в руке, ветер шевелил его черные волосы.

Пока Коломбина поднималась по лестнице, представляла себе, как все сложилось бы, если бы Гэндзи встретился ей раньше.

Открывала ключом дверь — напевала.

А пять минут спустя стряхнула с себя всю эту блажь, потому что ничего того, о чем толковал Гэндзи, нет и никогда не было — ни доброй и мудрой жизни, ни любви. Есть только одно — великий магнит, который притягивает тебя, как маленькую железную стружечку. Если уж подцепил, ничем не отпустит.

В эти пять минут произошло вот что.

Она села к столу, чтобы, как обычно, записать все события дня в дневник, и вдруг вспомнила про подлую шутку Горгоны.

Сердито выдвинула ящик, схватила оба бумажных квадратика с готическими письменами и поднесла к ним зажженную спичку, чтобы уничтожить следы своей постыдной доверчивости.

Прошло не менее минуты, прежде чем Коломбина убедилась: послания не подвержены огню. Сожгла несколько спичек, опалила подушечки пальцев, а бумага даже не почернела!

Трясущимися руками схватила сумочку, чтобы достать портсигар. Нужно было выкурить папиросу, собраться с мыслями. Сумочка выпала из непослушных пальцев, содержимое рассыпалось по полу, и в глаза Коломбине бросился маленький белый листок — точно такой же, как два предыдущих. Она схватила его и прочла одно-единственное слово: **Comm**^[9].

Вот так. И только так.

Несколько минут сидела без движения и думала не про Того, Кто прислал ей вызов, а про японского принца. «Спасибо вам, милый Гэндзи, — мысленно попрощалась с ним Коломбина. — Вы умны, хороши собой, вы желали мне добра. Я непременно влюбилась бы в вас — всё шло к тому, но сыскался кавалер еще более импозантный, чем вы. Всё окончательно определилось. Мне пора».

И хватит об этом.

Оставалось лишь написать в дневнике завершающую главу. Название

возникло само собой.

Нежно, так нежно Коломбина покидает Город Грез

"Нежно — потому что именно это чувство переполняет сейчас всё существо путешественницы, чей вояж близится к блистательному завершению. На душе от этого и сладостно, и грустно.

Коломбина долго сидела у стола, где горели три белые, медленно оплывающие свечи, и обдумывала разные способы ухода — будто перед балом перебирала платья в гардеробе, прикладывала к себе, смотрелась в зеркало, вздыхала и отбрасывала отвергнутый наряд на кресла. Не то, опять не то.

Ей почему-то было не очень страшно. От трех белых листков, аккуратно разложенных на столе, веяло силой и спокойствием. Коломбина твердо знала: сначала будет немножко больно, но зато потом всё выйдет очень-очень хорошо, и заботил тщеславную кокетку вопрос в общем-то не столь уж и важный: как она будет выглядеть после смерти. Хотя как раз это, может быть, и являлось самой важной из проблем, которые осталось решить в ее коротенькой и стремительно несущейся к финалу жизни.

Она хотела бы после ухода посмотреть, как красивая кукла, уложенная в нарядную коробку. Стало быть, быстрые способы вроде веревки или прыжка с балкона не годились. Лучше всего, конечно, было бы принять снотворное — проглотить целый хрустальный флакон опия, запивая сладким чаем со смородиновым джемом. Чай у Коломбины имелся, смородиновый джем тоже. Только вот снотворным запастись она не успела — потому что никогда в жизни не мучилась бессонницей: как только положит голову на подушку и разложит на обе стороны золотые пряди, так сразу и провалится в сон.

Наконец нелегкий выбор был сделан.

Набрать в ванну теплой воды. Добавить несколько капель лавандового масла. Умастить лицо и шею чудесным кремом «Ланолин» из оловянной трубочки, «идеальным средством для сохранения пригожей кожи» (дня на три, до похорон — дальше пригожая кожа не понадобится). Надеть белое кружевное платье, немножко похожее на подвенечное. Волосы перетянуть алой лентой, чтобы гармонировала с цветом воды. Лечь в ванну, под водой (чтобы было не так больно) чиркнуть острым ножиком по венам и медленно уснуть. Те, кто обнаружат Коломбину, скажут: она была похожа на белую хризантему, плавающую в бокале розового вина.

Теперь оставалось последнее: написать стихотворение. На этом закончится повесть о Коломбине, прилетевшей в Город Грез из неведомого далека, ненадолго расправившей здесь свои бесплотные крылышки и упорхнувшей из света в тень.

Из света в тень перелетев,
И ни о чем не сожалея,
Исчезла маленькая фея,
Умолк пленительный напев.
(Перечеркнуто крест накрест)

Нет, это никуда не годится. Первая строчка подвернулась из чужого стихотворения, а последняя вообще черт знает что: «Умолкли звуки чудных песен». Попробуем сначала.

Ни черту не верю, ни Богу.
О да! Умереть — уснуть.
Письмо позвало в дорогу.
Я вещи собрала — и в путь.
(Перечеркнуто крест накрест)

Опять не то. Почему-то ужасно не нравится третья строка — просто с души от нее воротит. И потом, как правильно — позва́ло или позвалó, собра́ла или собралá? До чего трудно! И вода остывает, будет холодно. Придется выпустить и набрать новой.

Ну же!

Датский принц напрасно колебался,
Быть ему, бедняжке, иль не быть.

(Перечеркнуто крест накрест)

Нужно без глумливости и не так протяжно. Легче, невесомей.

Смерть — не сон и не забвенье,
А цветущий, дивный сад,
Где сулит мне пробужденье
Сладкозвучный водопад.

Ущипнуть себя до боли,
Чтоб на воле, средь деревьев,
От приснившейся неволи
Пробудиться, умерев.

Понятно будет, что водопад — это звук струи, доносящийся из ванной? Ах, да пусть непонятно! И хватит терзать бумагу. Кто, собственно, сказал, что предсмертное стихотворение должно быть длинным? А у Коломбины оно будет коротеньким, нелепым и оборванным в самом начале, как оборвалась ее коротенькая и нелепая (но все же красивая, очень красивая) жи..."

Коломбина не дописала слово — в ночной тишине раздался звон дверного колокольчика.

Кто бы это мог быть, в третьем часу ночи?

В иное время она испугалась бы. Известно, что ночные звонки в дверь ничего хорошего не сулят. Но чего бояться, когда окончательный расчет с жизнью уже сделан?

Может быть, не открывать? Пусть себе трезвонит.

Она пристроила головку пригревшегося Люцифера поудобнее во впадинке на ключице, и попыталась сосредоточиться на дневнике, но неумолкающий колокольчик мешал.

Что ж, придется посмотреть, какой сюрприз приготовила жизнь на самом своем исходе.

Газовый рожок в прихожей Коломбина зажигать не стала.

Собственно, она уже догадалась, кто посетил ее в этот поздний час.

Гэндзи, больше-то и некому. Почувствовал что-то. Опять станет убеждать, уговаривать. Придется прикинуться, что со всем согласна. Дождаться, чтоб ушел, и уж потом...

Открыла.

На лестнице тоже было темно. Кто-то выключил там свет.

Смутно виднелся силуэт. Высокий, массивный — нет, не Гэндзи.

Ночной гость молчал, было слышно его шумное прерывистое дыхание.

— Вы ко мне? — спросила Коломбина, вглядываясь во тьму.

— К тебе! — раздалось сипение — такое дикое, злобное, что хозяйка отшатнулась.

— Кто вы? — вскричала она.

— Твоя смерть! С маленькой буквы.

Раздался хриплый хохот, из глубины глотки. Голос показался Коломбине знакомым, но от ужаса она перестала что-либо понимать, да и времени сосредоточиться не было.

Тень шагнула в прихожую, схватила барышню за шею крепкими, как железные клещи, пальцами.

Голос прошипел:

— Будешь вся синяя, с вывалившимся языком. Хороша избранница!

Страшный гость снова хохотнул — хрипло, будто дряхлая собака залаяла.

В ответ на хохот раздалось сердитое шипение разбуженного Люцифера. Храбрый змееныш, за последние недели изрядно подросший на молоке и мясном фарше, вцепился обидчику в руку.

Тот, зарывав, схватил ужа за хвост и шмякнул об стену. Это заняло не более секунды, но Коломбина успела рвануться. Ничего не решала, не выгадывала момент. Как животное, повинуясь инстинкту, рванулась и всё.

Разевая рот, но все равно молча, без крика, побежала по коридору. Просто бежала. Вслепую, сама не зная, куда и зачем.

Ее гнал самый действенный погонщик — страх смерти. Непередаваемый, отвратительный. Сзади грохотала каблуками не Смерть, а смерть — грязная, смрадная, жуткая. Та самая, из детства. Жирная кладбищенская земля. Белые могильные черви. Оскаленный череп. Дыры вместо глаз.

Мелькнула мысль: в ванную, запереть задвижку и кричать, колотить по железной трубе, чтобы услышали соседи. Дверь ванной открывается вовне, ручка хлипкая. Начнет дергать — оторвёт, а дверь останется запертой.

Замечательная была идея, спасительная. Но для ее осуществления требовалось три, ну хотя бы две секунды, а взять их было негде.

На пороге комнаты пятерня сзади ухватила за рукав. Коломбина дернулась что было сил, полетели пуговицы.

Зато вернулся голос.

— Помогите! — закричала она что было мочи.

Потом уже кричала не переставая. Так громко, как могла.

Метнулась из комнаты налево, в кухню.

Дверь ванной вот она, слышно, как шумит льющаяся из крана вода. Нет, не успеть.

Из кухни снова налево, в коридор. Круг замкнулся.

Куда дальше? Снова в комнату или на лестницу — входная дверь так и осталась открытой.

Лучше на лестницу. Может, кто-нибудь выглянет?

С криком вылетела на темную площадку, бросилась вниз по ступенькам. Только бы не оступиться!

Мешала длинная юбка. Коломбина рывком задрала ее выше колен.

— Стой, воровка! Стой! — ревел сзади хриплый голос.

Почему «воровка», успела подумать Коломбина, и в этот миг, перед самым последним пролетом, подвернулся и хрустнул каблучок.

Взвизгнув, беглянка грохнулась грудью, животом на каменные ступени, съехала вниз. Ударилась локтями, но было не больно — только очень страшно.

Поняла: встать не успеет. Прижалась лбом к полу. Он был холодный и пах пылью. Зажмурила глаза.

Громко хлопнула дверь подъезда.

Раздался звонкий крик:

— Ни с места! Стреляю!

В ответ сипло:

— На, получи!

Оглушительный треск, от которого у Коломбины заложило уши.

Раньше она в темноте ничего не видела, теперь перестала и слышать.

Кроме пыли запахло еще чем-то. Резкий, смутно знакомый запах.

Вспомнила — порох. Когда брат Миша в саду стрелял ворон, пахло так же.

Издалека, еле слышно донесся голос:

— Коломбина! Вы живы?

Голос Гэндзи.

Сильные руки, но не грубые, как те, а осторожные, перевернули её на спину.

Она открыла глаза и снова зажмурилась.

Прямо в лицо светил электрический фонарь.

— Слепит, — жалобно сказала Коломбина.

Тогда он положил фонарь на ступеньку, и теперь стало видно, что Гэндзи опирается о перила, причем в руке держит дымящийся револьвер; что цилиндр у него съехал набок, а пальто расстегнуто.

Коломбина шепотом спросила:

— Что это было?

Он снова взял фонарь, посветил в сторону.

У стены сидел Калибан. Неподвижные глаза смотрели в пол. Из приоткрытого рта стекала темная струйка. Еще одна, совсем черная, — из круглой дырки во лбу.

Он умер, догадалась Коломбина. В руке мёртвый бухгалтер сжимал нож, почему-то держа его не за рукоятку, а за лезвие.

— Хотел метнуть, — объяснил Гэндзи. — Видно, у матросов научился, пока по морям плавал. Но я выстрелил раньше.

Стуча зубами и давясь икотой, Коломбина спросила:

— За-зачем? П-почему? Я ведь и так хотела, сама...

Подумала: как странно, теперь я заикаюсь, а он нет.

— После, после, — сказал ей Гэндзи.

Осторожно поднял барышню на руки, понес вверх по лестнице.

Коломбина прижалась головой к его груди. Ей сейчас было очень хорошо. И держал он ее удобно, правильно. Будто специально учился носить на руках обессиленных девушек.

Она прошептала:

— Я кукла, я кукла.

Гэндзи нагнулся, спросил:

— Что?

— Вы несете меня, как сломанную куклу, — объяснила она.

Четверть часа спустя Коломбина, одна, сидела в кресле с ногами, завернутая в плед, и плакала.

Одна — потому что Гэндзи, укутав ее, отправился за доктором и полицией.

С ногами — потому что весь пол был мокрый, из ванной натекло.

А плакала не от страха (Гэндзи сказал, что больше ничего страшного не будет) — от горя. У нее на коленях узорчатой ленточкой лежал храбрый Люцифер, недвижимый, бездыханный.

Коломбина гладила своего спасителя по шершавой спинке, всхлипывала, шмыгала носом.

Но когда повернулась к зеркалу, плакать перестала.

Увидела: на лбу багровая ссадина, нос распух, глаза красные, по шее пролегли синие полосы.

Пока не вернулся Гэндзи, нужно было хоть как-то привести себя в порядок.

III. Из папки «Агентурные донесения»

Его высокоблагородию подполковнику Бесикову

(В собственные руки)

Милостивый государь Виссарион Виссарионович!

Эпопею с «Любовниками Смерти» можно считать завершенной. Постараюсь изложить Вам события минувшего вечера, не упуская ничего существенного.

Когда все мы в обычный час собрались у Просперо, я сразу же понял: случилось нечто из ряда вон выходящее. Председательствовал не Благовольский, а Заика, и вскоре стало ясно, что наш дож низвергнут, и бразды правления взял в свои крепкие руки новый диктатор. Правда, ненадолго и лишь для того, чтобы объявить сообщество распущенным.

Именно от Заики мы узнали о невероятных событиях минувшей ночи. Пересказывать их не буду, поскольку Вы несомненно обо всем уже осведомлены из Ваших источников. Полагаю, что московская полиция и Ваши люди разыскивают Заику, чтобы допросить его о случившемся, однако я Вам в этом малопочтенном деле не помощник. Мне совершенно очевидно, что этот человек действовал правильно, и если он не хочет встречаться с представителями закона (а именно такое впечатление создалось у меня из его слов), это его право.

Неизбежность убийства, совершенного при самообороне, подтвердила и Коломбина, едва не павшая от руки спятившего Калибана (того самого соискателя, которого в прежних своих донесениях я именовал Бухгалтером — его настоящее имя Вам тоже наверняка уже известно). Шея бедной девушки, еще хранящая следы совершенного над ней насилия, была закрыта шарфом, на лбу сквозь толстый слой пудры просвечивал кровоподтек, а ее голос, обычно такой звонкий, совсем осип от отчаянных криков о помощи.

Заика начал свою пространную речь с развенчания идеи самоубийства, с чем я от души солидарен, однако, с Вашего позволения, пересказывать этот вдохновенный монолог не стану, поскольку для Вашего ведомства интереса он не представляет. Отмечу лишь, что оратор говорил замечательно, хоть и заикался больше обычного.

А вот сведения, сообщенные Заикой далее, Вам наверняка пригодятся. Эту часть его речи я изложу подробно и даже от первого лица, чтобы иметь возможность время от времени вставлять собственные комментарии.

Заика начал так или примерно так:

«Я в основном живу за границей и редко бываю в Москве, поскольку климат родного города [я так и думал, что он москвич — это слышно по выговору] с некоторых пор стал не вполне полезен для моего здоровья. Однако я внимательно слежу за тем, что здесь происходит: получаю письма от знакомых, читаю главные московские газеты. Сообщения об эпидемии самоубийств и таинственных «Любовниках Смерти» не могли не привлечь моего внимания. Дело в том, что не столь давно мне пришлось заниматься делом Лондонского клуба «Немезис» — преступного сообщества, которое освоило редкую криминальную специальность: доведение до самоубийства с корыстными целями. Неудивительно, что вести из Москвы насторожили меня. Я заподозрил, что необычайная частота беспричинных самоубийств имеет какое-то вполне натуральное и практическое обоснование. Не повторяется ли история «Немезиса», подумал я. Что если некие злонамеренные лица нарочно подталкивают легковых или подверженных чужому влиянию людей к роковому шагу?

Через два дня после моего прибытия в Москву покончил с собой очередной стихотворец, Никифор Сипяга. Я отправился обследовать его квартиру и убедился в том, что этот человек действительно принадлежал к числу «Любовников Смерти». Полиция даже не поинтересовалась, кто оплачивал нищему студенту это вполне пристойное жилище. Я же установил, что жилье для покойного снимал некто Сергей Иринархович Благовольский, человек необычной судьбы и экстравагантного образа жизни. Наблюдение за домом господина Благовольского подтвердило мои предположения — тайные собрания происходили именно здесь.

Без особенных усилий мне удалось стать одним из вас, и теперь я мог продолжить свои изыскания уже изнутри клуба. Поначалу улики указывали на вполне определенное лицо. [Заика красноречиво посмотрел на Дожа, который сидел сторбленный и жалкий.] Однако более тщательное расследование обстоятельств череды самоубийств и в особенности последние события — убийства Гдлевского и Лавра Жемайло (да-да, господина Жемайло тоже убили), а также покушение на убийство мадемуазель Коломбины — обрисовывают эту историю в совсем ином свете. История странная, запутанная до такой степени, что многие детали распутаны мною еще не до конца, но вчерашнее событие исполнило роль меча, рассекшего этот гордиев узел. Детали утратили значение, да и

прояснить их теперь будет несложно.

Лорелея Рубинштейн отравилась морфием после того, как у нее в комнате необъяснимым образом одна за другой появились три черные розы, которые эта впечатлительная и одержимая самоубийственной obsессией женщина восприняла как зов Смерти. Я довольно легко установил, что черные розы несчастной Лорелее подкладывала ее сожительница, создание алчное и недалекое. Она и в мыслях не держала ничего дурного. Думала, что помогает очередному поклоннику таланта поэтессы. За исполнение этого странноватого, но на первый взгляд вполне невинного поручения незнакомец платил ей по пяти рублей, обусловив вознаграждение требованием хранить тайну. При первом разговоре с этой особой я отметил ее испуг — она уже знала, к чему привело ее пособничество. Когда же она сказала, что засохшие розы были букетом, я сразу понял: она лжет — ведь все три цветка находились в разных стадиях увядания.

Я пришел к этой женщине вновь, без свидетелей, и заставил ее говорить правду. Она во всем призналась и кое-как описала таинственного ухажера. Свидетельница сказала: высокий, страшный, бритый, с грубым голосом. Больше я от нее ничего не добился — она неумна, ненаблюдательна, да и подслеповата. Теперь-то ясно, что к ней приходил Калибан, однако в тот момент я все еще подозревал господина Благовольского и понял лишь, что моя версия несостоятельна. Если бы я проявил чуть больше проницательности, и гимназист, и репортер, да, вероятно, и сам Калибан остались бы живы».

Он сделал паузу, чтобы справиться с обуревавшими его чувствами. Кто-то из наших, воспользовавшись наступившей тишиной, спросил: «Но зачем Калибану понадобилось одних доводить до самоубийства, а других убивать, да еще так жестоко?»

Заика кивнул, словно признавая резонность вопроса.

«Вы все знаете, что это был не вполне нормальный человек. [Замечание показалось мне забавным. Можно подумать, все остальные «любовники» — люди нормальные.] Однако в его жизни были обстоятельства, о которых я узнал только теперь, уже после его смерти. Калибан, или Савелий Акимович Папушин (таково его настоящее имя) служил счетоводом на пароходе Добровольного флота. Судно совершало рейс Одесса — Шанхай и попало в тайфун. Спаслись только трое членов экипажа, добравшихся в шлюпке до маленького, пустынного островка — собственно, даже не островка, а скалы, торчащей посреди океана. Полтора месяца спустя британский чайный клипер, случайно оказавшийся в тех

водах, обнаружил единственного выжившего — Папушина. Он не умер от жажды, потому что это был сезон дождей. Как ему удалось продержаться столько времени без пищи, он не объяснил, однако на песке были обнаружены останки двух его товарищей: совершенно обглоданные скелеты. Папушин сказал, что над трупами поработали крабы. Англичане ему не поверили, держали его под замком до прибытия в первый порт и сдали с рук на руки полицейским властям. [Я-то нисколько не сомневаюсь, что наш бухгалтер убил и слопал своих товарищей — достаточно вспомнить его чудовищные стихотворные сочинения, в которых постоянно фигурировали скалы, волны и скелеты, разыскивающие свое мясо.] Больше года Папушина держали в психиатрической лечебнице. Сегодня я разговаривал с его врачом, доктором Баженовым. Пациента одолевали постоянные кошмары и галлюцинации, связанные с темой каннибализма. К себе он относился с лютым отвращением. В первую же неделю лечения проглотил ложку и осколок тарелки, но не умер. Дальнейших попыток самоубийства не предпринимал, решив, что недостоин смерти. В конце концов Папушина выпустили с условием, что он будет являться для осмотра и беседы с врачом. Он сначала приходил, потом перестал. Во время последней встречи выглядел успокоенным и сказал, что нашел людей, которые помогут ему «решить его вопрос».

Все мы помним, что Калибан был самым истовым ревнителем добровольной смерти. Он с нетерпением ждал своей очереди и мучительно ревновал к «успеху» других. Каждый раз, когда выбор падал на кого-то иного, он впадал в отчаяние: Смерть по-прежнему считает его недостойным присоединиться к обществу убитых и съеденных товарищей. А ведь он переменялся, очистился раскаянием, он так верно служит Смерти, так страстно ее любит и желает!

Я слишком поздно вступил в клуб, и мне сейчас трудно установить, как и почему Папушин вздумал подталкивать некоторых из соискателей к самоубийству. От Офелии, скорее всего, он просто захотел избавиться, чтобы прекратились спиритические сеансы — разуверился, что рассерженные духи «любовников» его когда-либо вызовут. Тут, как и в случае с Аваддоном, Калибан проявил недюжинную изобретательность, какой я в нем и не подозревал. Впрочем, известно, что личности маниакального склада бывают необычайно хитроумны. Не буду посвящать вас в технические подробности, это сейчас к делу не относится.

Почему он решил известить Львицу Экстаза? Возможно, она раздражала его своей чрезмерной экзальтированностью. С несчастной Лорелеей Папушин сыграл злую шутку, которая, наверное, показалась его больному,

извращенному сознанию очень остроумной. Другой мотивации предположить не могу.

Зато с Гдлевским всё совершенно ясно. Мальчик слишком хвастался расположением, которое якобы выказывала ему Смерть. История с пятничными рифмами и в самом деле поразительна — слишком много совпадений. Я заподозрил нечистую игру и хотел проследить за шарманщиком, чью песенку Гдлевский воспринял как последний из Знаков. Но бродяга будто сквозь землю провалился. Я обошел в тот вечер все окрестные улицы, но так его и не нашел...

Калибан был действительно помешан на любви к Смерти. Он любил ее страстно, как любят роковых женщин. Должно быть, именно так Хосе любил Кармен, а Рогожин Настасью Филипповну — мучаясь, сгорая от нетерпения, отчаянно ревнуя к более счастливым соперникам. А гимназист еще и куражился своим воображаемым триумфом. Убив Гдлевского, Калибан уничтожил соперника. Он нарочно обставил всё так, чтобы вы, остальные, поняли: никакое это не самоубийство, мальчишка — самозванец, Смерть не пошла с ним к алтарю. Если выражаться языком газет, это было самое настоящее преступление страсти».

Упоминание о газетах напомнило мне о Лавре Жемайло.

«А что произошло с Сирано? — спросил я. — Вы сказали, это было убийство. Опять Папушин?»

«Разумеется, смерть Жемайло не была самоубийством, — ответил Заика. — Калибан каким-то образом раскрыл журналиста. За несколько минут до гибели репортер телефонировал в редакцию (судя по всему прямо из этой квартиры, больше неоткуда) и обещал доставить какую-то невероятную новость. Не знаю, что он имел в виду, но хорошо помню события того вечера. Сирано отошел к книжным полкам, посмотрел на корешки и взял один из томов. Потом вышел и больше уже не возвращался. Это было около десяти часов вечера. Вскрытие установило, что умер он никак не позднее одиннадцати».

Так вот что означало загадочное шевеление двери, которое я наблюдал тем вечером в кабинете! Я подслушивал Сирано из коридора, а Калибан тем временем притаился с другой стороны, в столовой. Тогда-то он и раскрыл корреспондента!

«Полицейский врач установил, — продолжал между тем Заика, — что Жемайло скончался от удушения, однако на шее покойного кроме странгуляционной борозды видны еще и отчетливые следы пальцев. Очевидно, Папушин последовал за журналистом, догнал его на бульваре, совершенно пустынном в этот поздний час, и задушил, благо силой его

природа не обделила. Рыхлый и низкорослый Сирано никак не мог оказать разъяренному бухгалтеру сколько-нибудь серьезного сопротивления. Затем Калибан подвесил труп на дереве, используя для этого брючный ремень убитого. Это было уже не преступление страсти, но акция возмездия. С точки зрения Калибана, воспринимавшего членство в клубе как священное служение, Сирано был подлым предателем, заслуживающим иудиной участи. Именно поэтому было выбрано иудино дерево — осина».

Тут меня, честно говоря, прошиб холодный пот. Я представил, что сделал бы со мной этот сумасшедший, если бы узнал о нашей с Вами переписке. Вы хоть понимаете, какому чудовищному риску я подвергался, выполняя Ваше поручение?

У меня началось сердцебиение, задрожали пальцы и, боюсь, дальше я слушал уже менее внимательно, поэтому завершение речи передаю в несколько скомканном виде.

«Безнаказанность двух предшествующих убийств и всё нарастающее озлобление подтолкнули Папушина к новому преступлению. Он решил умертвить Коломбину, новую фаворитку Смерти. Особенно мучительным безумцу должно было показаться унижение, которому он подвергся, когда заветное послание от Вечной Невесты было публично объявлено фальшивкой. Коломбина же утверждала, что ее Знаки в огне не горят.

Тут надобно пояснить, что, по глубокому убеждению Папушина — убеждению, в котором его всячески укреплял наш дож, — самоубийство является наивысшей формой ухода из жизни, или, как выразился Стерн, аристократом среди смертей. Не дав Коломбине умереть по собственной воле, Калибан тем самым разоблачил бы ее как узурпаторшу — точно так же, как ранее он поступил с Гдлевским.

Именно так всё бы и произошло, если бы вчера, встревоженный состоянием мадемуазель Коломбины, я не отправился провожать ее до дому. Мы простились у подъезда, но я решил последить за ее окнами, чтобы немедленно вмешаться, если замечу что-нибудь подозрительное. Разумеется, мне и в голову не приходила мысль об убийстве — я опасался лишь того, что барышня вознамерится наложить на себя руки.

В окне горел свет, время от времени я видел движение тени по шторе. Было уже очень поздно, но мадемуазель Коломбина всё не ложилась. Меня одолевали мучительные колебания. Не подняться ли наверх? Но как будет выглядеть ночной визит мужчины к одинокой девушке? Нет, это было совершенно немыслимо.

Я не видел, как Калибан проник в подъезд — очевидно, он вошел со двора, через черный ход. В четверть третьего мне послышалось, будто

сверху доносятся приглушенные крики, однако я не мог бы поручиться, что не обманываюсь. Я весь обратился в слух, и через несколько секунд уже вполне явственно донеслось: «Нет! Нет! Черепа! Черви!»

Крики раздавались из самого подъезда. Я не понял значения слов, да и сейчас не понимаю, что имела в виду мадемуазель Коломбина, однако немедленно бросился к парадному. Как оказалось, вовремя. Несколько мгновений промедления, и было бы поздно».

Здесь с Коломбиной приключилась истерика. Она зарыдала, бросилась Заике на грудь, говорила бессвязные слова и несколько раз поцеловала его в лоб и щеки, нанеся некоторый урон прическе и воротничкам этого франта. Когда же девицу напоили водой и усадили в кресло, Заика сказал нам в заключение:

«Теперь всё, дамы и господа. Клуб «Любовники Смерти» я объявляю распущенным. Нет никакой Смерти с большой буквы. Это раз. Той смерти, которая существует, любовники с любовницами не нужны. Это два. Придет время, и вы непременно повстречаетесь с этой скучной дамой, всяк в свой час. Никуда эта встреча от вас не уйдет. Это три. Прощайте».

Расходились молча, в выражении лиц преобладали растерянность или возмущение. С Просперо никто не попрощался, даже его одалиски. Он сидел, совершенно уничтоженный. Еще бы! Как мог этот хваленый ясновидец и самоназначенный спаситель душ так фатально ошибиться? Ведь сам привел в клуб опасного маньяка, всячески ему покровительствовал, по сути дела — поощрял убийцу! Не хотел бы я оказаться в его шкуре.

Или хотел бы? Ей-богу, в положении свергнутого кумира, который вчера еще был высоко вознесен, а сегодня сброшен в грязь — в унижении, в растоптанности есть наслаждение не менее острое, чем в победительности и успехе. Мы, немцы, знаем толк в подобных вещах, потому что начисто лишены чувства меры. Утонченную сладость позора, ведомую лишь очень гордым людям, отлично чувствовал и гениальный Федор Михайлович, самый немецкий из русских писателей. Жаль, что у нас с Вами не было случая поговорить о литературе. Да теперь уж и не будет.

На сем завершаю свой последний отчет, ибо принятые мною обязательства исполнены. Можете доложить начальству, что московской эпидемии самоубийств наступил конец. Припишите эту заслугу своим усилиям — мне не жалко. Я не честолюбив, от жизни мне нужны не почести и карьера, а нечто совсем иное, чего Вам, боюсь, не оценить и не понять.

Прощайте, Виссарион Виссарионович, не поминайте лихом. А я постараюсь не поминать лихом Вас.

Ваш ZZ

20 сентября.

Глава шестая

I. Из газет

НА МОТОРЕ В ПАРИЖ

Завтра в полдень из Москвы на трехколесном моторе выезжает в Париж русский спортсмен, задавшийся целью установить новый рекорд дальности и скорости переезда на самодвижущихся экипажах.

2800 верст, разделяющие две столицы дружественных наций, отважный рекордсмен г. Неймлес думает преодолеть в 12 дней, не считая дней, ночевки и прочих остановок, в том числе вынужденных — из-за ремонта или скверного состояния дорог. Последнее обстоятельство, а именно ужасающее состояние дорог, в особенности на территории Привисленского края, представляет наибольшую трудность для осуществления этого рискованного предприятия. Всем памятен прошлогодний случай, когда в колдобине под Пинском развалилось на куски четырехколесное авто барона фон Либница.

Старт состоится от Триумфальной арки. Г. Неймлеса будет сопровождать камердинер на бричке с багажом и запасными элементами для трипеда. Мы будем следить за продвижением смельчака и регулярно печатать телеграммы, получаемые из пунктов трудного маршрута.

«Московские ведомости» 22 сентября (5 октября) 1900 г.

4-ая страница

II. Из дневника Коломбины

Я просыпаюсь, чтобы уснуть

"Оказывается, я ничего не знаю. Кто я, зачем живу и вообще — что такое жизнь. Гэндзи однажды процитировал какого-то древнего японца, который сказал: «Жизнь — это сон, увиденный во сне».

Древний японец совершенно прав. Еще полчаса назад мне казалось, что я бодрствую. Что я много дней спала и очнулась только тогда, когда в глаза мне ударил луч электрического фонаря и взволнованный голос спросил: «Коломбина, вы живы?» И в тот миг мне приснилось, что я пробудилась ото сна. Я словно заново услышала звуки настоящего мира, увидела живые краски, а стеклянная колба, отделявшая меня от яви, рассыпалась вдребезги. Нет ни Вечного Жениха по имени Смерть, ни таинственного и манящего Иного Измерения, ни мистических Знаков, ни духов, ни зова черноты.

В течение трех дней после того, как меня чуть не заграбастала «смерть с маленькой буквы», я наслаждалась воображаемой свободой — много смеялась и много плакала, изумлялась всякой обыденной ерунде, ела пирожные, шила небывалое платье. Исколола себе все пальцы — очень уж неудобный материал. Каждый раз вскрикивала и еще больше радовалась, потому что боль подтверждала реальность бытия. Как будто боль не может присниться!

Сегодня я надела свой сногшибательный наряд, и всё не могла на него нарадоваться. Такого платья ни у кого больше нет. Оно из «чертовой кожи» — блестящее, переливающееся, хрустящее. Для своего мотовояжа Гэндзи обзавелся дорожным костюмом из этой ткани, и я сразу в нее влюбилась.

Платье совершенно несносное, в нем всё время то жарко, то холодно, но зато как оно сверкает! На улице на меня беспрестанно оглядывались.

Я была абсолютно уверена, что солнце, небо, скрипучее платье и красавец-брюнет со спокойными голубыми глазами существуют на самом деле, что это и есть реальная жизнь, а больше ничего и не нужно.

Пестрый балаган, возведенный старым выдумщиком Просперо, при первом дуновении свежего, *настоящего* ветра разлетелся, словно картонный домик.

Гэндзи опять проводил меня до двери, как вчера и позавчера. Он

думает, что после случившегося мне страшно одной подниматься по лестнице. Мне совсем не было страшно, но я хотела, чтобы он меня провожал.

Он обращается со мной, как с фарфоровой вазой. Перед расставанием целует руку. Уверена — он ко мне равнодушен. Но он джентльмен и, должно быть, чувствует себя связанным тем, что спас мне жизнь. А вдруг я не оттолкну его из одной лишь благодарности? Какой смешной! Как будто благодарность имеет хоть какое-то отношение к любви. Но таким он нравится мне еще больше.

Ничего, думала я. Куда спешить? Пусть съездит в свой дурацкий мотопробег. Ведь если у нас с ним сейчас что-то начнется, он не сможет испытать свою керосинку, а ему так этого хочется. Воистину мужчины — мальчишки, в любом возрасте.

После Парижа я возьмусь за него как следует. Бог даст, керосинка сломается в ста верстах от Москвы, и тогда он вернется скоро, мечтала я. Но я была согласна и подождать три недели, пускай он поставит свой рекорд. Жизнь длинная, и времени для радости еще так много.

Я ошибалась. Жизнь короткая. А Гэндзи мне приснился, равно как и все остальное — солнце, небо, новое платье.

Проснулась я только что.

Вернулась к себе, выпила чаю, повертелась перед зеркалом, чтобы полюбоваться, как искрится «чертова кожа» в голубоватом свете лампы. А потом мой взгляд вдруг упал на томик в кожаном переплете с золотым обрезом. Я присела, раскрыла книгу на закладке, стала читать.

Это прощальный подарок Просперо. Средневековый немецкий трактат с длинным названием «Сокровенные рассуждения Анонима о пережитом в собственной жизни и услышанном от людей, заслуживающих доверия». Позавчера, когда все молча вышли на улицу, оставив Дожа одного и никто даже не сказал ему «до свиданья», я вернулась от дверей, тронутая его молящим взглядом, пожала ему руку и поцеловала в щеку — в память обо всем, что меж нами было.

Он понял, что означает мой поцелуй, и не попытался на него ответить или заключить меня в объятия.

— Прощайте, дитя, — грустно сказал он, обращаясь ко мне на «вы» и тем самым словно признавая всё бывшее раз и навсегда оконченным. — Вы — мой запоздалый праздник, а праздники долго не длятся. Спасибо, что согрели усталое сердце отсветом вашего милого тепла. Я приготовил вам маленький подарок — в знак благодарности.

Он взял со стола томик в порыжевшем переплете телячьей кожи и вынул из кармана листок бумаги.

— Не читайте этот трактат целиком, в нем много темного и непонятного. В вашем возрасте не стоит отягощать разум печальной мудростью. Но непременно прочтите главу «Случаи, когда любовь сильнее смерти» — вот, я закладываю ее листком. Обратите на листок внимание, ему больше двухсот лет. Драгоценнейшая бумага шестнадцатого столетия, с водяными знаками короля Франциска I. Эта четвертушка стоит гораздо дороже, чем сама книга, хотя ей два столетия. Быть может, когда вы прочтёте заложенную главу, вам захочется написать мне короткое письмо. Используйте этот листок — украшенный вашим почерком, он станет одной из драгоценнейших реликвий моей пустой и ничтожной жизни... И не думайте про меня плохо.

Я рассмотрела листок с любопытством. На свет было видно пузатую лилию и букву F. Просперо знает толк в красивых вещах. Его дар показался мне трогательным, старомодным, даже обворожительным.

Два дня я не открывала книгу — настроение не располагало к чтению трактатов. А нынче, распрощавшись с Гэндзи на целых три недели, вдруг решила посмотреть, не сообщит ли мне средневековый автор о любви что-нибудь новенькое.

Вынула закладку, отложила в сторону, стала читать. Некий ученый каноник, имя которого на обложке было обозначено одной лишь литерой W., утверждал, что в вечном противостоянии любви и смерти обычно верх одерживает последняя, но иногда, очень редко, бывают случаи, когда самозабвенная любовь двух сердец воспаряет над пределом, положенным смертному существу, и укореняет свою страсть в вечности, так что от течения времени любовь нисколько не тускнеет, а напротив, сияет все ярче и ярче. Залогом увековечивания страсти странный каноник считал двойное самоубийство, к которому любящие прибегают, дабы жизнь не смогла их разлучить. Тем самым, по убеждению автора, они ставят смерть в подчинение любовному чувству, и смерть навеки становится верной рабой любви.

Устав от длинных периодов средневекового вольнодумца и от готического шрифта, я оторвала взгляд от желтых страниц и стала думать, что это означает? То есть не сам текст, смысл которого при всей витиеватости был ясен, а подарок. Просперо хочет сказать, что любит меня и что его чувство сильнее смерти? Что на самом деле он не был служителем смерти, а всегда служил только любви? И что я должна ему написать?

Решила, начну так: «Милый Дож, я всегда буду благодарна Вам, потому что Вы преподали мне начала важнейших дисциплин — любви и смерти. Однако науки эти такого рода, что проходить их каждый должен самостоятельно, да и экзамены по ним приходится сдавать экстерном».

Открыла чернильницу, взяла отложенный листок и...

И сразу забыла про трактат, про Дожа и про письмо. Сквозь мраморные прожилки старинной бумаги смутно, но вполне различимо проступили знакомые угловатые буквы, сложившиеся в два коротких слова: **Ich warte!**^[10]

Я не сразу поняла, что значит эта надпись, а лишь удивилась — откуда она могла взяться? Ведь позавчера я очень хорошо рассмотрела листок, он был совершенно чист! Буквы не были написаны пером — они именно что проступили, словно бы просочились из плотной бумаги. Я помотала головой, чтобы наваждение исчезло. Оно не исчезло. Тогда я ущипнула себя за руку, чтобы проснуться.

И проснулась. Пелена спала с глаз, песочные часы перевернулись, мир встал с головы на ноги.

Меня ждет Царевич Смерть. Он не химера и не выдумка. Он есть. Он любит меня, зовет меня, и я не могу не откликнуться на этот зов.

В прошлый раз, когда мне помешал Калибан, я еще не была готова к встрече — тревожилась из-за всякой ерунды, вымучивала из себя прощальное стихотворение, тянула время. Поэтому Он и дал мне отсрочку. Но теперь час настал. Суженый заждался меня, и я иду.

Не нужно ничего выдумывать, всё очень просто. Как я буду выглядеть после ухода — неважно. Сон, именуемый жизнью, так или иначе рассеется, и вместо него я увижу новый, несказанно более прекрасный.

Выйти на балкон, в темноту. Открыть чугунную калитку. Напротив, под луной и звездами, матово блестит крыша дома. Она близко, но не допрыгнешь. И всё же: отойти вглубь комнаты, как следует разбежаться и взмыть над пустотой. Это будет захватывающий полет — прямо в объятия Вечного Возлюбленного.

Жалко маму и отца. Но они так далеко. Я вижу городок — бревенчатые домики среди белых сугробов. Вижу реку — черная вода, по которой ползут огромные льдины. На одной льдине Маша Миронова, на другой тесной кучкой — те, кого она любила. Черная трещина все шире, шире. Ангара похожа на штуку белой ткани, криво разрезанную вдоль.

А вот и стихотворение. И голову ломать не надо — только успевай записывать.

Жизнь моя рассечена,
Словно штука полотна.
Развалились половинки —
Здесь одна и там одна.

Острый ножик резал вкось,
Как придется, на авось —
От краев до серединки,
Чтоб обратно не срослось.

Сразу видно — не к добру
Жизнь затеяла игру:
От Москвы и до Иркутска
Растопырила дыру.

Было белым полотно,
А теперь черным-черно.
Мне б на белое вернуться —
Не допрыгнешь все равно.

По-над бездной Млечный Путь,
А внизу лишь мрак да жуть.
Разбежаться посильней бы —
Ну как выйдет что-нибудь?

Не зацепится нога
За Уральские рога,
И свалюсь я прямо с неба
В домотканые снега.

Вот и всё. Теперь только разбежаться и прыгнуть.

Издателю

У меня нет времени редактировать и переписывать эту сумбурную, но правдивую повесть. Прошу только об одном: выбросьте строчки, которые зачеркнуты. Пусть читатели увидят меня не такой, какой я была, а такой, какой я хочу себя показать.

M. M.

III. Из папки «Агентурные донесения»

Его высокоблагородию подполковнику Бесикову

(В собственные руки)

Милостивый государь Виссарион Виссарионович!

Вы, верно, удивлены тем, что после нашей вчерашней встречи, состоявшейся по Вашему требованию и закончившейся моими проклятиями, криками и постыдными слезами, я вновь пишу Вам. А может быть, и не удивлены, так как презираете меня и убеждены в моей слабости. Впрочем, это как Вам угодно. Вероятно, на мой счет Вы правы и никуда бы я не делся из Ваших цепких рук, если бы не события истекшей ночи.

Считайте это мое послание официальным документом или, коли Вам угодно, свидетельским актом. Если же письма окажется недостаточно, я готов подтвердить свои показания в любой правоохранительной инстанции, даже и под присягой.

Минувшей ночью я не мог уснуть — расходились нервы после нашего объяснения, да и испугался, что уж скрывать. Человек я впечатлительный, ипохондрического склада, и Ваша угроза выслать меня административным порядком в Якутск, да еще известив тамошних политических, что я сотрудничал с жандармами, совершенно выбила меня из колеи.

Итак, я метался по комнате, ерошил волосы, заламывал руки — одним словом, отчаянно трусил. Один раз даже зарыдал, сильно себя пожалев. Если б не отвращение к самоубийству, вызванное прошлогодней гибелью моего бедного обожаемого брата (до чего же он был похож на двух молоденьких близнецов из нашего клуба!), я, верно, всерьез задумался бы, не наложить ли на себя руки.

Впрочем, Вам про мои ночные переживания знать необязательно и вряд ли интересно. Достаточно сказать, что во втором часу ночи я всё еще не спал.

Внезапно мое внимание привлек ужасный треск и грохот, стремительно приближающийся к дому. Перепугавшись, я выглянул в окно и увидел, как к воротам подъезжает диковинный трехколесный экипаж, движущийся безо всякой конной тяги. На высоком сиденье виднелись две фигуры: одна в блестящем кожаном костюме, каскетке и огромных очках,

закрывавших чуть не всё лицо; вторая еще более странная — юный еврейчик в ермолке и с пейсами, но тоже в больших очках.

Кожаный человек вылез из своего уродливого аппарата, поднялся по ступенькам крыльца и позвонил.

Это был Заика, очень сосредоточенный, бледный и хмурый.

«Что-нибудь случилось?» — спросил я, удивленный и встревоженный ночным визитом. Этот господин никогда прежде не проявлял интереса к моей персоне. Мне казалось, что он вообще не замечает самого факта моего существования. Да и откуда он мог узнать, где я живу?

Предположить я мог только одно: Заика каким-то образом выяснил, что я пытался за ним следить, и пришел требовать объяснений.

Но он заговорил совсем о другом.

«Мария Миронова, которую вы знали под именем Коломбины, выпрыгнула из окна», — сообщил мне Заика вместо приветствия или извинения за позднее вторжение. Не знаю, почему я продолжаю именовать его прозвищем, которое выдумал сам. Теперь эта смехотворная уловка уже ни к чему, и потом Вы ведь все равно знаете об этом человеке больше, чем я. Как его зовут на самом деле, мне неизвестно, но у нас в клубе его называли странным именем Гэндзи.

Я не знал, что ответить на мрачное известие, и пробормотал лишь: «Жаль девочку. Она хотя бы не мучилась перед смертью?»

«К счастью, она осталась жива, — бесстрастно объявил Гэндзи. — Фантастическое везение. Коломбина не просто выбросилась из окна, а зачем-то разбежалась и прыгнула — очень далеко. Это ее и спасло. Хотя переулочек и узкий, до крыши противоположного дома она, конечно, допрыгнуть не могла, однако, на счастье, как раз напротив балкона торчит рекламная вывеска в виде жестяного ангела. Коломбина зацепилась подолом за вытянутую руку этой фигуры и повисла. Платье оказалось из невероятно прочной материи — той же, из которой изготовлен мой дорожный костюм. Оно не порвалось. Бедняжка застряла на высоте в десять саженей, лишившись чувств. Висела головой вниз, будто кукла. И продолжалось это долго, потому что из-за темноты заметили ее не сразу. Сняли с большими трудностями, при помощи пожарных. Отвезли в больницу. Когда барышня пришла в себя, спросили адрес кого-либо из родственников. Она назвала мой телефон. Позвонили. Спрашивают: «Здесь ли проживает господин Гэндзи?»

Я заметил, что он говорит вовсе не бесстрастно, а, напротив, изо всех сил преодолевает сильнейшее волнение. Чем дольше я слушал ночного гостя, тем больше задавался вопросом: зачем он ко мне явился? Что ему

нужно? Гэндзи не из тех людей, которым после потрясения непременно нужно с кем-нибудь поделиться. Уж во всяком случае, я на роль его конфиденнта никак не подходил.

«Вы явились ко мне как к врачу? — осторожно спросил я. — Хотите, чтобы я поехал к ней в больницу? Но барышню наверняка уже осмотрели. Да и потом, я ведь не по лечебной части, я патологоанатом. Мои пациенты в медицинской помощи не нуждаются».

"Госпожа Миронова уже отпущена из больницы — на ней нет ни царапины. Мой слуга отвез девушку ко мне на квартиру, напоил горячей японской водкой и уложил спать. С Коломбиной теперь всё будет в порядке. — Гэндзи снял свои гигантские очки, и от взгляда его стальных глаз мне стало не по себе. — Вы, господин Гораций, нужны мне не как доктор, а в ином вашем качестве. В качестве «сотрудника».

Я хотел сделать вид, будто не понимаю этого термина, и недоуменно поднял брови, хотя внутри у меня все похолодело.

«Не трудитесь, я давно вас раскрыл. Вы подслушивали мою беседу с Благовольским, в которой я объявил, с какой целью стал членом клуба. Сквозь щель приоткрытой двери блеснуло стеклышко очков, а никто из соискателей кроме вас очков не носит. Правда, тогда я предположил, что вы и есть вездесущий репортер Лавр Жемайло. Однако после гибели журналиста стало ясно, что я ошибся. Тогда я попросил моего слугу, с которым вы отчасти знакомы, взглянуть на вас, и он подтвердил вторую мою гипотезу — это вы пытались устроить за мной слежку. По моему поручению Маса, в свою очередь, проследил за вами. Господин в клетчатой тройке, с которым вы вчера встречались на Первой Тверской-Ямской, служит в жандармском, не так ли?»

Я прошептал, дрожа всем телом: «Зачем я вам нужен? Никакого вреда я вам не причинил, клянусь! А история с «Любовниками Смерти» кончена, и клуб распущен». «Клуб распущен, но история не кончена. Из больницы я наведалься на квартиру к Коломбине и нашел там вот это. — Гэндзи вынул из кармана листок странной бумаги с мраморными разводами, сквозь которые проступала надпись *ICH WARTE!* — Вот из-за чего Коломбина прыгнула в окно».

Я недоуменно уставился на листок. «Что это означает?» «То, что я ошибся в выводах, клюнув на чересчур очевидное и из-за этого закрыл глаза на ряд деталей и обстоятельств, выбивающихся из картины, — туманно ответил Гэндзи. — В результате чуть не погибла девушка, в судьбе которой я принимаю участие. Вы, Гораций, сейчас поедете со мной. Будете официальным свидетелем, а после изложите своему жандармскому

начальству всё, что увидите и услышите. По некоторым причинам, о которых вам знать необязательно, я предпочитаю не встречаться с московской полицией. Да и задерживаться в городе не хочу — это помешает рекорду».

Я не понял, что означают слова о рекорде, однако переспрашивать не решился. Гэндзи прибавил, всё так же глядя мне в глаза: «Я знаю, вы не законченный подлец. Вы просто слабый человек, ставший жертвой обстоятельств. А значит, для вас не всё потеряно. Ведь сказано в Писании: «Из слабого выйдет сильный». Едемте».

Его тон был властным, я не мог противиться. Да и не хотел.

Мы доехали до Рождественского бульвара на моторе. Я сидел между Гэндзи и его странным спутником, вцепившись обеими руками в поручни. Кошмарным агрегатом управлял еврейчик, покрикивавший на поворотах: «Эх, залетные!». Скорость и тряска были такими, что я думал лишь об одном — не вылететь бы с сиденья.

«Дальше пешком, — сказал Гэндзи, велел шофэру остановиться на углу. — Двигатель производит слишком много шума».

Юнец остался сторожить авто, мы же двое пошли по переулку.

В окнах знакомого дома, несмотря на поздний час, горел свет.

«Паук, — пробормотал Гэндзи, стягивая перчатки с огромными раструбами. — Сидит, потирает лапки. Ждет, когда мотылек застрянет в паутине... После того, как я закончу, вы вызовете по телефону полицию. Дайте слово, что не станете меня удерживать».

«Даю слово», — послушно пробормотал я, хотя по-прежнему еще ничего не понимал.

Дождь открыл нам, даже не спросив, кто это явился к нему среди ночи. Он был в бархатном халате, похожем на старинный кафтан. В разрезе виднелись белая сорочка и галстук. Молча посмотрев на нас, Просперо усмехнулся: «Интересная пара. Не знал, что вы дружны».

Меня поразило, что сегодня он выглядит совсем не так, как во время последнего заседания — не жалкий и потерянный, а уверенный, даже торжествующий. Совсем как в прежние времена.

«В чем причина позднего визита и надутых физиономий? — все так же насмешливо осведомился дождь, проводив нас в гостиную. — Нет, не говорите, угадаю сам. Самоубийства продолжаются? Роспуск зловредного клуба ничего не дал? А что я вам говорил!» Он покачал головой и вздохнул.

«Нет, господин Благовольский, — тихо сказал Гэндзи, — клуб свою деятельность прекратил. Осталась одна, самая последняя формальность».

Больше он не успел произнести ни слова. Дождь проворно отскочил

назад и выхватил из кармана «бульдог». От неожиданности я ахнул и отпрянул в сторону.

Однако Гэндзи нисколько не растерялся. Он швырнул Благовольскому в лицо тяжелую перчатку, и в ту же секунду с поистине непостижимым проворством ударил ногой в желтом ботинке и гамаше по револьверу.

Оружие, так и не выстрелив, отлетело в сторону. Я быстро подобрал его и протянул своему спутнику.

«Можно считать это признанием? — в холодной ярости произнес Гэндзи, вдруг совершенно перестав заикаться. — Я мог бы застрелить вас, Благовольский, прямо сейчас, сию секунду, и это была бы законная самооборона. Но пусть всё будет по закону».

Просперо сделался бледен, от его недавней насмешливости не осталось и следа.

«Какое признание? — пробормотал он. — О каком законе вы говорите? Ничего не понимаю! Я подумал, что вы сошли с ума, как Калибан, и пришли меня убить. Кто вы такой на самом деле? Что вам от меня нужно?»

«Вижу, разговор предстоит долгий. Садитесь. — Гэндзи показал на стул. — Я так и знал, что вы станете отпираться».

Дождь опасно покосился на револьвер.

«Хорошо-хорошо. Я сделаю всё, что вы хотите. Только давайте лучше перейдем в кабинет. Здесь сквозняк, а меня знобит».

Мы прошли через темную столовую и уселись в кабинете: хозяин за письменный стол, Гэндзи — напротив, в огромное кресло для гостей, я — сбоку. Широкий стол содержался в изрядном беспорядке: повсюду лежали книги с закладками, исписанные листки, посередине поблескивал бронзой богатый чернильный прибор в виде героев русских былин, а на краю обнаружилось знакомое рулеточное колесо, выдворенное из гостиной и нашедшее пристанище здесь, в самой сердцевине дома. Вероятно, Колесо Фортуны должно было напоминать хозяину о днях бывшего величия.

«Слушайте внимательно и всё запоминайте, — велел мне Гэндзи, — чтобы потом изложить в отчете как можно точнее».

Должен сказать, что к обязанностям свидетеля я отнесся серьезно. Выходя из дому, прихватил с собой карандаш и блокнот, некогда приобретенный по Вашему совету. Если б не моя предусмотрительность, мне сейчас было бы непросто восстановить всё сказанное с такой степенью точности.

Благовольский сначала нервно шарил пальцами по зеленому сукну, но потом сделал над собой усилие: левую руку убрал под стол, правую

положил на шлем бронзового богатыря-чернильницы и более уже не шевелился.

«Извольте объясниться, господа, что всё это значит, — с достоинством сказал он. — Кажется, вы меня в чем-то обвиняете?»

Гэндзи попытался повернуть свое сиденье, но оно оказалось слишком массивным, к тому же толстые ножки утопали в пушистом квадратном коврикe, очевидно изготовленном на заказ — аккурат под размер кресла. Пришлось Заике сидеть, повернувшись вполборота.

«Да, я вас обвиняю. В подлейшей разновидности душегубства — доведении до самоубийства. Но я виню и себя, потому что дважды совершил непростительные ошибки. В первый раз — в этом самом кабинете, когда вы, искусно переплетя правду с ложью, разыграли передо мной спектакль и прикинулись благонамеренной овцой. Во второй раз я дал себя обмануть, когда принял хвост дьявола за самого дьявола. — Гэндзи положил «бульдог» на край стола. — Вы отдаете себе отчет в своих поступках, рассудок ваш трезв, действия тщательно продуманы и просчитаны на много ходов вперед, но всё равно вы сумасшедший. Вы помешаны на жажде власти. Во время нашего предыдущего объяснения вы признались в этом сами — с такой подкупающей искренностью, с такой ужимкой невинности, что я дал себя одурачить. Ах, если бы в тот вечер, когда вы разбили кубок, я догадался взять немного жидкости на анализ! Уверен, что это было не снотворное, как вы заявили, а самый настоящий яд. Иначе зачем вам понадобилось бы уничтожать эту улику? Увы, я совершил слишком много ошибок, которые обошлись чересчур дорого...

Мне ясен механизм вашей мании, — сказал далее Гэндзи. — В свое время вы трижды хотели умереть и трижды испугались. Возглавив клуб самоубийц, вы словно бы искупали свою вину перед Смертью, подбрасывая вместо себя других в ее ненасытную пасть. Вы откупались от Смерти чужими жизнями. Как нравилось вам воображать себя могущественным волшебником Просперо, высоко вознесенным над обычными смертными! Никогда не прощу себе, что поверил вашей сказке о спасении заблудших душ. Никого вы не спасали. Наоборот, из романтического увлечения, порожденного нашей кризисной эпохой, — увлечения, которое в девяносто девяти случаях из ста миновало бы само собой, вы искусно взращивали росток смертолюбия. О, вы — искусный садовник, не гнушающийся никакими ухищрениями. Пресловутые «Знаки» вы изобретательно подстраивали сами, иногда пользуясь случайным стечением обстоятельств, но чаще всего фабрикуя их собственноручно. Вы, Благовольский, превосходный психолог, вы безошибочно угадывали самое

уязвимое место каждой из своих жертв. Кроме того, как я заметил, вы отлично владеете и техникой гипноза».

Это совершеннейшая правда! Я неоднократно замечал, какой магнетической силой обладает взгляд Просперо, особенно при мягком освещении жаровни или свечей. У меня всегда было ощущение, что эти черные глаза пронизывают меня до самых тайников души! Гипноз — ну разумеется, всё объяснялось гипнозом!

«Я поздно появился среди вашей паствы, — продолжил Гэндзи. — Не знаю, каким образом вы довели до самоубийства фотографа Свиридова и учителя Соймонова. Несомненно, и тот, и другой получили от Смерти какие-то «Знаки», и наверняка не без вашего участия, но теперь ход событий уже не восстановить. Смертников во время спиритического сеанса называла Офелия. Вы тут вроде бы и не при чем. Но я не новичок в подобных вещах, и мне сразу стало ясно, что между вами и медиумом существует гипнотическая связь — вы умели разговаривать с ней без слов. Как говорят спириты, она была настроена на вашу эманацию — достаточно было взгляда, жеста, намека, и Офелия угадывала вашу волю, была послушна ей. Вы могли внушить ей что угодно, девочка была всего лишь рупором ваших уст».

«Очень лирично, — впервые за всё время обвинительной речи нарушил молчание Благовольский. — И, главное, доказательно. По-моему, господин Гэндзи, это не я умалишенный, а вы. Неужто вы думаете, что власти будут выслушивать ваши фантазии?»

Он уже оправился от первоначального потрясения, сцепил пальцы перед собой и смотрел на говорившего, не отводя глаз. Сильный человек, подумал я. Кажется, нашла коса на камень.

«Пишите, Гораций, пишите, — велел мне Гэндзи. — Как можно подробней. Тут важна вся цепочка. А доказательства будут.

С двойным самоубийством Моретты и Ликантропа у вас всё вышло очень просто и опять-таки совершенно неподсудно. Офелия, действовавшая под вашим внушением, а возможно, и выполнявшая прямое ваше указание, объявила на сеансе, что ближайшей ночью к избраннику явится посланец в белом плаще и принесет Весть. Расчет был безошибочен: члены клуба люди впечатлительные, по большей части истерического устройства. Странно еще, что посланец в белом плаще в ту ночь приснился только двоим из них. Правда, судя по предсмертному стихотворению, незнакомец, привидевшийся юноше, был суровым, черноглазым и прибыл нормальным порядком, через дверь; девушке же приснился некто со светлым взором, да и предпочел окно, но кто же станет приставать к мистическому видению с

мелочными придирками?»

«Чушь, — фыркнул Просперо. — Безответственные домыслы. Записывай, Гораций, записывай. Если мне суждено погибнуть от руки этого полоумного, пусть преступление не останется безнаказанным».

Я в замешательстве посмотрел на Гэндзи, тот успокаивающе кивнул:

«Не беспокойтесь. Сейчас доберемся и до улик. Их предоставило мне дело Аваддона, погибшего за день до того, как я приступил к розыску. След был совсем свежий, и убийце не удалось его замести».

«Убийце? — переспросил я. — Так это было убийство?»

«Такое же верное, как если бы студента казнили на виселице. Началось, как и в прежних случаях, с приговора, произнесенного устами загипнотизированной Офелии. А довершили дело «Знаки»: вой Зверя, или, вернее, жуткий, нечеловеческий голос, повторявший нечто вроде «умри, умри». Голос слышали соседи — значит, о галлюцинации речи быть не могло. Я внимательно осмотрел квартиру и обнаружил любопытное обстоятельство. Петли и замочная скважина двери, что вела на черную лестницу, были тщательно смазаны маслом, причем совсем недавно. Я рассмотрел замок в лупу и определил по свежим царапинам, что его несколько раз отпирали ключом, причем только снаружи, а изнутри ключ в скважину ни разу не вставляли. Предположить, что постоялец все время жил с незапертой дверью черного хода, невозможно. Значит, кто-то отворял ее, входил в квартиру, делал там что-то и вскоре уходил.

При повторном посещении квартиры, явившись туда под покровом ночи, я произвел более подробный осмотр, надеясь отыскать следы какого-нибудь технического устройства, способного производить звуки. Под верхним карнизом кухонного окна я обнаружил две свинцовые трубки, вроде тех, что используются в пневматических звонках, обе искусно замаскированные под штукатурку и с отверстиями, заткнутыми пробкой. Я вынул затычки, но ничего не произошло. Я уже было решил, что это какая-то новинка вентиляционной техники, но тут за окном подул ветер, задрожали стекла, и я отчетливо услышал низкий, утробный вой: «Уммм-иии, уммм-иии». В темной, мрачной квартире это было по-настоящему жутко. Вне всякого сомнения звук издавали потайные трубки! Я заткнул пробки, и вой тут же прекратился. Нечто подобное применяли древние египтяне в пирамидах, чтобы отпугнуть осквернителей саркофагов. Трубки разной конфигурации, установленные на сквозняке, умели выдувать целые слова и даже фразы. Ведь вы, господин Благовольский, в прошлом инженер, и, кажется, одаренный? Разработка этой, в сущности, нехитрой конструкции не составила бы для вас труда. Тут мне стала понятна загадка

черного хода. Злоумышленник, которому нужно было довести жильца до самоубийства, выбрал ненастную ночь, потихоньку вошел в кухню и открыл затычки, после чего преспокойно удалился, нисколько не сомневаясь в результате. Мне было известно, что квартиру для бедного студента сняли и обставили вы. Это раз. По свидетельству соседей, зверь не унимался до самого утра, хотя Никифор Сипяга повесился еще перед рассветом. Это два. Спрашивается, зачем бы Зверю звать на тот свет того, кто и так уже благополучно туда переправился? Я вспомнил ваши слова о том, что, беспокоясь за Аваддона, вы ни свет ни заря отправились его навестить. Тогда-то вы и закрыли трубки, от чего Зверь сразу угомонился. И это три».

«Что ж, трубки — это, действительно, улика, — признал Благовольский. — Только непонятно, против кого. Да, я помог бедному студенту с жильем. И я обнаружил труп первым. Подозрительно? Возможно. Но не более того. Нет-нет, господин принц, моей виновности вы не доказали. Бедняжка Аваддон относился к числу неизлечимых случаев. Никто не смог бы уберечь его от самоубийства. Ему нужен был только повод, чтобы наложить на себя руки».

И все же было видно, что аргументы на него подействовали — дож снова заерзал, потянулся к бронзовой чернильнице, словно она могла ему помочь.

Гэндзи поднялся из кресла, прошелся по комнате.

«А как насчет Офелии? Ее вы тоже относите к «неизлечимым случаям»? Девочка вовсе не хотела умирать, ее просто привлекало все таинственное и труднообъяснимое. Она и в самом деле обладала способностями, которые современная наука оценить и проанализировать не умеет. И вы сполна попользовались этим ее даром. Когда я вместо вас проводил спиритический сеанс, вызывая дух Аваддона, Офелия со своей невероятной восприимчивостью что-то такое ощутила или угадала. На Востоке верят, что сильные чувства могут сохраняться долго. Мощный выброс позитивной или негативной духовной энергии не проходит бесследно. Именно этим объясняется «проклятость» или «святость» некоторых мест. Там существует некая специфическая аура. И люди, подобные Офелии, обладают редким качеством эту особенную ауру улавливать. Войдя в транс, девушка ощутила страх, ужас и безысходность, испытанные Аваддоном в последние минуты жизни. Может быть, упоминание о «вое» и «звере» было просто навеяно предсмертным стихотворением Аваддона и никакой мистики тут нет, но вы испугались. А что если Офелия с ее сверхъестественным даром почувствует нечистую

игру? Ведь вы, Благовольский, при всем вашем циничном манипулировании человеческим легковерием, в душе сами мистик и верите во всякую чертовщину».

Мне показалось, что в этот миг Просперо вздрогнул, но, впрочем, поручиться не могу. Гэндзи же снова опустился в кресло.

«Браво, — сказал он. — Вы осторожны. Я нарочно оставил револьвер на столе, а сам встал и даже отошел в надежде, что вы попытаетесь меня убить. В кармане у меня верный «герсталь», я со спокойной совестью продырявил бы вам голову, и нашей бессмысленной беседе наступил бы конец».

«Почему «бессмысленной»? — спросил я. — Ведь вы хотите, чтобы господин Благовольский был предан суду?»

«Боюсь, от этого суда будет больше вреда, чем пользы, — вздохнул Гэндзи. — Шумный процесс, краснобаи-адвокаты, импозантный подсудимый, полчища репортеров. Какая реклама для будущих ловцов душ! Вряд ли их испугает даже приговор».

«Из того, что я слышал до сих пор, приговор может последовать только один — оправдательный, — пожал плечами Благовольский. — А ваша уловка с подсовыванием револьвера просто смехотворна. Неужто я похож на болвана? Вы лучше рассказывайте дальше. Интересно излагаете».

Гэндзи невозмутимо кивнул:

«Что ж, дальше так дальше. После проведенного мною спиритического сеанса вы решили, что Офелия становится для вас опасна. А что если она расскажет о гипнотических приказах, которые вы ей посылали? Случаи, когда объект вырывается из-под власти гипнотизера, не столь уж редки. До сих пор девушка была подвластна только вашему воздействию, однако во время сеанса вы увидели, что точно так же она покоряется и воле другого оператора... Я не мог понять одного. Как можно довести до самоубийства человека, который вовсе не намеревался себя убивать? И я нашел ответ: святая вера Офелии в сверхъестественные явления, беспрекословное и нерассуждающее подчинение Чуду, наконец, ее несомненно аномальная психика — вот чем мог воспользоваться злоумышленник. Причем для осуществления своего замысла ему хватило нескольких мгновений. Счастливая, переполняемая радостью жизни девушка вошла к себе в комнату, чтобы почти сразу же выйти обратно, преобразившись до неузнаваемости. Попрощалась с матерью, дошла до берега реки и бросилась в воду... Мне всё не давали покоя слова, сказанные Офелией: что ей был ниспослан такой же знак, как царю Валтасару. И у меня возникла некая идея. Я приехал ночью к тому месту и вырезал

внешнее стекло из окна спальни. То-то, должно быть, удивилась наутро бедная чиновница, когда обнаружила загадочную пропажу. Стекло я просветил ультрафиолетовыми лучами и выявил контуры смазанной, но вполне различимой надписи, сделанной фосфорной тушью. Вот эта надпись, я срисовал ее».

Я вспомнил загадочные манипуляции Заики подле маленького домика в Заяуэе. Так вот чем, оказывается, занимался в ту ночь самоназначенный дознаватель!

Гэндзи вынул из кармана большой, свернутый вчетверо лист бумаги и разложил его на столе. Надпись выглядела примерно так:

Stirb
(в зеркальном изображении)

«Что это?» — спросил я, разглядывая непонятные письмена.

Тогда он поднял лист, перевернул другой стороной и заслонил им настольную лампу. Я разобрал просвечивающие буквы:

Stirb [\[11\]](#)

«Войдя в темную комнату, Офелия увидела светящуюся, огненную надпись, которая словно парила в воздухе и недвусмысленно приказывала: «Умри». Принц Tod ясно выразил свою волю, и девушка не посмела ей противиться. Она с детства привыкла безоговорочно внимать тайным знакам судьбы... Вы же, — Гэндзи скомкал листок и бросил его на стол перед дожем, — в это время, верно, наблюдали за происходящим снаружи. Самое омерзительное в этой истории даже не убийство, а то, что, уже приговорив девочку к смерти, вы предварительно решили попользоваться ее полудетским телом. Отлично зная, что она вас втайне обожает, даже боготворит, вы велели ей остаться, когда прочие соискатели ушли, и, надо полагать, проявили недюжинный любовный пыл — во всяком случае, Офелия, вернувшись домой, выглядела совершенно счастливой. Близость смерти распаляет вашу чувственность, не так ли? У вас всё было продумано. Утолив свою страсть, вы галантно отвезли жертву домой, попрощались с ней у ворот, а затем быстро написали на стекле спальни роковое приказание. Выждав и убедившись, что фокус сработал, вы наскоро протерли окно и отправились восвояси. Вы не учли только одного, Сергей Ириархович. Стекло — это улика, причем неопровержимая».

«Неопровержимая улика? — пожал плечами Благовольский. — Но как

вы докажете, что эти каракули на стекле вывел именно я?»

Мне тоже показалось, что Гэндзи чересчур самоуверен. Да, я помню, как в тот вечер Просперо велел Офелии остаться и, зная его обыкновения, легко могу представить, что последовало далее. Однако для доказательного обвинения этого недостаточно.

«Вы ведь инженер, — сказал Гэндзи дожу. — И, вероятно, следите за научным прогрессом. Неужто от вашего внимания ускользнуло открытие, обнаруженное лондонской полицией в июне сего года?»

Мы с Благовольским смотрели на говорившего, ничего не понимая.

«Я имею в виду дактилоскопический способ Галтона-Генри, который впервые дает возможность распознавать преступника по оставленным им отпечаткам пальцев. Лучшие криминалистические умы много лет бились над тем, как создать систему, позволяющую классифицировать папиллярные узоры на подушечках пальцев — и вот способ обнаружен. Самые четкие следы остаются именно на стекле. Хотя вы и смазали фосфорные буквы платком, все отпечатки пальцев вам стереть не удалось. У меня с собой фотографические снимки трех дактилограмм преступника. Желаете сверить со своими?»

С этими словами Гэндзи достал из необъятного кармана своей кожаной куртки металлическую коробочку. Внутри оказалась подушечка наподобие штемпельной, перемазанная темной краской или тушью.

«Не желаю, — быстро произнес Просперо и отдернул руки, спрятав их под стол. — Вы правы, научный прогресс вечно преподносит нам сюрпризы, и не всегда приятные».

Эта реплика была равносильна признанию!

«С Львицей Экстаза вы и вовсе мудрить не стали, — перешел Гэндзи к следующей жертве. — Эта сломленная горем женщина действительно жаждала смерти и без малейших колебаний сочла Знаком трехкратное появление черной розы на своей постели. Устроить этот трюк, как мы знаем, было несложно».

«Но в прошлый раз вы говорили, что розы передавал Калибан», — напомнил я.

«Да, и это обстоятельство ввело меня в заблуждение. Раз уж вы, Гораций, заговорили о Калибане, давайте перейдем к истинной роли этого своеобразного персонажа в нашей истории. Бухгалтер сильно запутал дело, он сбил меня с верного следа, разом сняв с главного преступника все подозрения. Эта моя ошибка едва не погубила легковушную Коломбину».

Вы, Просперо, недаром благоволили этому безумцу, сведенному с ума тяжкими испытаниями и угрызениями совести. Он действительно состоял

при вас в роли послушного Калибана, слуги всемогущего кудесника — слуги, слепо вам преданного и нерассуждающего. Вы хвалили его чудовищные стихи, вы всячески отличали его, а главное — он надеялся, что вы «составите ему протекцию» у Смерти, походатайствуете, чтоб ему «сократили срок заключения». До поры до времени он покорно выполнял ваши поручения, очевидно, не очень-то вникая в их смысл. Я полагаю, что потайные трубки в квартире Аваддона установил Калибан — вам вряд ли удалось бы справиться с этой непростой работой, требующей хороших навыков ручного труда и недюжинной физической силы, а давать такой странный заказ постороннему вы не рискнули бы. Передать три черных розы приживалке Лорелеи? Почему бы и нет? Очевидно, вы сказали Папушину, что хотите зло подшутить над Львицей, которая всегда раздражала Калибана своей экзальтированностью.

Как я мог поверить, что злым гением «Любовников Смерти» был этот полоумный верзила! Разве он додумался бы до фокуса с огненными буквами и воющим зверем? Тысячу раз прав мудрый китаец, сказавший: «Очевидное редко бывает истинным»... — Гэндзи сердито потрянул головой. — Однако ваш верный джинн не усидел в бутылке, он вырвался на свободу и стал действовать по собственному почину. Жажда смерти все яростнее испепеляла эту больную, неистовую душу. Расправившись с Гдлевским, бухгалтер разрушил весь ваш искусный план, уже близкий к осуществлению. Зачем вам понадобилось губить этого гордого, талантливого мальчика? Только для того чтобы потешить свое честолюбие? Сначала русская Сафо, потом русский Рембо — и оба наложили на себя руки, покорные вашей воле. Оставаясь в тени, вы лишили современную русскую поэзию двух самых ярких ее имен — и при этом имели все шансы остаться безнаказанным. Как жалки по сравнению с вами тривиальные истребители гениев вроде Дантеса или Мартынова!

Или все случилось проще, по наитию? Романтический юноша, увлеченный своей мистической теорией рифм, случайно открыл книгу на слове «жердь», рифмующемся со «смертью», и горделиво поведал вам об этом чудесном «Знаке». К следующей пятнице вы уже подготовились как следует — положили на стол книгу, зная, что Гдлевский сразу же кинется гадать. Я запомнил эту книгу и при первой же возможности как следует ее рассмотрел. — Гэндзи повернулся ко мне. — Гораций, если вас не затруднит, сходите, пожалуйста, в гостиную и возьмите с третьей полки сочинение графа Браницкого "О земных и небесных сферах".

Я немедленно исполнил просьбу. Книгу я нашел без труда. Снял с полки и ахнул. Это был тот самый том, который рассматривал Сирано в

последний вечер своей жизни!

На ходу я повертел книгу и так, и этак, но ничего подозрительного в ней не заметил. Увы, природа не наделила меня наблюдательностью. Я имел возможность лишний раз убедиться в этом, когда, приняв у меня том, Гэндзи показал:

«Взгляните на обрез. Видите желтоватую полосу, доходящую до середины? Это обыкновенный канцелярский клей. Попробуйте произвольно открыть книгу — на любой странице».

Я двумя пальцами распахнул том и не поверил своим глазам — он раскрылся на странице, где крупными буквами значилось название главы: «Земная твердь».

«Теперь вам понятно? — спросил меня Гэндзи. — Результат гадания на вторую пятницу для Гдлевского был предопределен заранее».

Да, расчет был прост и психологически точен. Понял я и еще одну вещь: именно эту «бомбу» хотел вставить в утренний выпуск своей газеты Сирано. Он, как и Гэндзи, обнаружил трюк с клеем и сразу сообразил, что может приправить свое расследование пикантнейшим соусом. Дело обретало криминальный привкус! Бедняга Сирано не подозревал, что подорвется на этой «бомбе» сам...

«В третью пятницу вы решили действовать наверняка, не оставив Гдлевскому ни единого шанса. После «удачи» двух первых гаданий юноша, разумеется, находился в столь взвинченном состоянии, что высматривал «Знаки» во всем, что происходило вокруг него. Не было бы ничего удивительного, если бы гимназист выискал свою роковую рифму и без вашего участия, но для полной гарантии вы приготовили ему искомое у самого порога вашего дома: подкупили бродячего шарманщика, чтобы он горланил песню с определенным припевом — ровно до той минуты, пока не пройдет некий молодой человек, наружность которого вы подробно описали. Не думаю, что вы посвятили шарманщика в свой замысел, однако же втолковали ему, что по исполнении задания следует немедленно уносить ноги. Именно это старик и сделал со всей доступной ему прытью. Выскочив на улицу каких-нибудь две минуты спустя, я уже не смог его обнаружить».

Итак, Гдлевский был вами приговорен и наверняка сам бы стал собственным палачом, но в дело вмешался Калибан, который давно уже ревновал вас ко второму вашему любимчику. Теперь же, когда оказалось, что Гдлевский отмечен не только вами, но и самое Смертью, безумный бухгалтер решил уничтожить счастливого соперника...

Убийство репортера Лавра Жемайло — вот единственная смерть, к

которой вы прямого отношения не имеете. Если не считать того, что в свое время вы назвали газетного осведомителя Иудой, который предаст вас, как Христа. Для Калибана вы и в самом деле были Спасителем, поэтому, узнав каким-то образом о роде занятий Сирано, бухгалтер убил его и повесил на осине».

В этот момент я, признаться, испытал нечто вроде внутреннего удовлетворения. Чувство не слишком достойное, но объяснимое. Оказывается, вы не всё знаете и не всё замечаете, многоумный господин расследователь, сказал себе я. Про то, что Калибан подслушал телефонный разговор Сирано с редакцией, вам неизвестно.

А Гэндзи уже перешел к последнему пункту своего обвинения:

«Тщательнее и коварнее всего вы готовили самоубийство Коломбины. Сначала вы подсунули ей один за другим три листка с надписями на немецком. Барышня еще позавчера, после нападения Калибана, отдала их мне и рассказала, что эти послания не горят в огне. Я подверг бумагу химическому анализу. Выяснилось, что она пропитана раствором квасцов, что и делает ее невоспламеняемой. Старый фокус, в свое время использованный еще графом Сен-Жерменом. Чтобы подтолкнуть Коломбину к мысли проверить записки на несгораемость, вы нарочно подсунули и Папушину послание от Смерти, только написанное на обычной бумаге. Затея отлично сработала, вы не учли только одного — Калибан счел себя уязвленным и решил расправиться с избранницей Смерти так же, как он расправился с Гдлевским. К счастью, я подоспел вовремя».

Я обратил внимание на то, как изменилось поведение Благовольского. Дож более не пытался возражать обвинителю или оспаривать его утверждения. Он сидел съежившись, в лице не осталось ни кровинки, а глаза неотрывно следили за говорившим — в них читались страх и тревога. Просперо не мог не чувствовать, что приближается финал. Охватившую его нервозность выдавали и движения рук: пальцы правой опять поглаживали бронзового богатыря, пальцы левой судорожно сжимались и разжимались.

«Судьба преподнесла вам, Сергей Иринархович, щедрый подарок в лице сумасшедшего Калибана. У вас появилась отличная возможность выйти сухим из воды, свалив все злодеяния на убитого маньяка. Но вы не совладали с собой и не смогли остановиться. Почему вы всё же решили добить девочку? Это для меня главная загадка. Не простили Коломбине того, что она охладела к вашим чарам? Или же, как это часто бывает с закоренелыми душегубами, в глубине сердца мечтали, чтобы кто-то

разоблачил и остановил вас?»

«Нет, господин психолог, — вдруг нарушил молчание Просперо. — Ни то и ни другое. Просто я не люблю бросать на середине хорошо начатое дело».

Я немедленно запротоколировал сказанное слово в слово: еще одно косвенное признание вины.

Гэндзи слегка нахмурился, видимо, озадаченный этим дерзким ответом.

«Вы, действительно, предприняли изобретательнейшую попытку довести свое «дело» до конца. Коломбина рассказала мне про магическую надпись «*ICH WARTE!*», неизвестно откуда появившуюся на чистом листке бумаги. Куда как эффектно! Неудивительно, что девочка сразу и безоговорочно поверила в чудо. Побывав на квартире у Коломбины, я внимательно осмотрел и листок, и раскрытую книгу. Еще один ловкий химический фокус. За несколько страниц до заложенного места вы приклеили бумажку, на которой уксуснокислым свинцом вывели два этих роковых слова. А мраморная бумага, исполнявшая роль закладки, была предварительно вымочена в растворе серной печени. При закрытии книги свинец начал просачиваться через страницы и примерно сутки спустя на мраморной бумаге проступили очертания букв. Этот способ тайнописи был разработан иезуитами еще в семнадцатом столетии, так что вашей заслуги тут нет. Вы лишь нашли старинному рецепту новое применение».

Гэндзи обернулся ко мне, опершись на подлокотник кресла.

«Всё, Гораций, факты изложены. Что до вещественных доказательств, то оконное стекло с отпечатками пальцев находится на сохранении в швейцарской Спасских казарм, трубки из квартиры Аваддона тоже никуда не делись, а книгу из библиотеки Благовольского с листком мраморной бумаги я оставил у Коломбины на письменном столе. На клеенной бумажке и вымоченном в растворе листке тоже наверняка имеются отпечатки пальцев преступника. Затруднений у следствия возникнуть не должно. Вот телефонный аппарат — звоните. Как только прибудет полиция, я удалюсь, а вы помните о данном слове».

Я поднялся, чтобы подойти к висевшему на стене телефону, но Благовольский жестом попросил меня повременить.

«Погоди, друг Гораций. Господин сыщик блеснул красноречием и проницательностью. Будет несправедливо, если я останусь без ответного слова».

Я вопросительно взглянул на Гэндзи. Тот кивнул, настороженно глядя на Просперо, и я снова сел.

Благовольский усмехнулся, откинул шлем на чернильнице, снова захлопнул, побарабанил по ней пальцами.

«Вы тут развернули целую психологическую теорию, которая изображает меня малодушным недоумком. По вашему выходит, что вся моя деятельность объясняется паническим страхом перед смертью, у которой я выторговываю отсрочку, делая ей человеческие жертвоприношения. Полноте, господин Гэндзи. Зачем же недооценивать и принижать противника? Это по меньшей мере неосмотрительно. Возможно, когда-то я и в самом деле боялся умереть, но это было очень, очень давно — за много лет до того, как каменные стены каземата вытравили во мне все сильные чувства, все страсти. Кроме одной, наивысшей — *быть Богом*. Длительное одиночное заключение отлично способствует усвоению той простой истины, что на свете ты — один, вся Вселенная — в тебе, а стало быть, ты и есть Бог. Захочешь — Вселенная будет жить. Не захочешь — она погибнет, со всем, что ее составляет. Вот что произойдет, если я, Бог, совершу самоубийство. По сравнению с такой катастрофой все прочие смерти — ерунда, безделица. Но если я Бог, то я должен властвовать, не правда ли? Это только логично, это мое право. Властвовать истинно, безраздельно. А знаете ли вы, что такое истинная, Божья власть над людьми? Нет, это не генеральские эполеты, не министерское кресло к даже не царский трон. Владычество подобного рода в наши времена становится анахронизмом. Правителям нового, начинающегося столетия его будет уже мало. Нужно властвовать не над телами — над душами. Сказал чужой душе: «Умри!» — и она умирает. Как это было у раскольников, когда по воле старца в огонь кидались сотни, и матери сами бросали в пламя младенцев. А старец уходил из горящего скита, «спасать» другую паству. Вы, господин Гэндзи, — человек ограниченный и этого наслаждения, наивысшего из всех, никогда не поймете... Ах, да что я трачу на вас время! Ну вас к черту, вы мне надоели».

Скомкав свою речь и произнеся последние две фразы брезгливой скороговоркой, Просперо вдруг повернул бронзового богатыря по часовой стрелке. Раздался металлический лязг, и под креслом, в котором сидел Гэндзи, раскрылся квадратный люк, в точности повторяющий контур коврика.

И ковер, и дубовое кресло, и сидевший в нем человек исчезли в черной дыре.

Я в ужасе закричал, не в силах оторвать глаз от зияющего в полу отверстия.

«Еще одна инженерная конструкция! — воскликнул Просперо, давась

судорожным хохотом. — И поостроумнее всех предыдущих! — Он замахал рукой, не в силах справиться с пароксизмом веселья. — Сидел важный человек, хозяин жизни. А потом поворот рычажка, пружина высвободилась и бу-бух! Извольте провалиться в колодец».

Он сообщил мне, утирая слезы:

«Понимаешь, друг Гораций, в прошлом году я задумал углубить подвал. Рабочие стали копать и обнаружили древний, выложенный камнем колодец. Глубоченный — чуть не в тридцать саженей. Я велел надстроить шахту, выложить ее кирпичиками и довести вот сюда, до самого пола. А люк уж сверху самостоятельно пристроил. Люблю на досуге помастерить, душой от этого отдыхаю. Покойный господин Гэндзи зря считал меня белоручкой — голосовой имитатор в квартире Аваддона я соорудил сам. Что же до потайного люка, то я устроил его не для дела, а для забавы. Бывало, сижу с гостем, разговариваем о всякой всячине. Он — в кресле, на почетном месте, я за столом, рычажком поигрываю. А сам думаю: «Твоя жизнь, голубь, вот в этих пальцах. Чуть поверну — и исчезнешь с лица земли». Очень самоуважение поднимает, особенно если гость надутый и спесивый, вроде безвременно почившего японского принца. Вот уж не думал я, что от моей игрушки такая польза получится».

Я сидел в совершенном окаменении, слушал эти чудовищные речи, и с каждым мгновением мне делалось всё страшнее. Бежать, немедленно бежать отсюда! Живым он меня не выпустит — сбросит в тот же самый колодец.

Хотел было кинуться к двери, но тут мой взгляд упал на «бульдог», оставшийся на краю стола. Пока добегу до выхода, Просперо схватит оружие и выстрелит мне в спину.

Так, значит, нужно взять револьвер самому!

Отчаянность ситуации придала мне храбрости. Я вскочил и потянулся за оружием, но Благовольский оказался проворней — мои пальцы наткнулись на его руку, накрывшую «бульдог». В следующий миг мы вцепились в револьвер четырьмя руками. Мелко переступая, обогнули стол — я с одной стороны, он с другой — и затоптались на месте, изображая род какого-то макаберного танца.

Я лягнул его ногой, он меня тоже, угодив по щиколотке. Было очень больно, но пальцев я не разжал. Рванул оружие на себя что было сил, и мы оба, не удержавшись, рухнули на пол. «Бульдог» выскользнул из наших рук, проехал по блестящему паркету, завис на краю люка. Нерешительно покачался туда-сюда. Я на четвереньках бросился к револьверу, но поздно: словно решившись, он провалился внутрь.

Несколько затихающих глухих ударов. Тишина.

Пользуясь тем, что я оказался повернут к нему тылом, Просперо схватил меня одной рукой за ворот, второй за фалду и поволок по полу к яме. Еще секунда, и всё было бы кончено, но по счастливой случайности мои пальцы наткнулись на ножку стола. Я вцепился в нее намертво. Моя голова уже свешивалась над дырой, но сдвинуть меня ни на дюйм дальше Благовольскому не удалось, как он ни старался.

От крайнего напряжения всех сил я не сразу взгляделся в черноту — да и глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Сначала я увидел какую-то странную прямоугольную фигуру, смутно прорисовывающуюся во мраке, и лишь несколько секунд спустя понял, что это повернутое боком кресло — оно застряло в колодце, пролетев не более сажени. И еще, ниже кресла, я заметил два белых пятна. Они шевельнулись, и я вдруг догадался: это манжеты, высунувшиеся из-под кожаного реглана Гэндзи! Самих рук было не видно, но крахмальные манжеты просвечивали сквозь темноту. Значит, Гэндзи не свалился на дно, а успел ухватиться за наглухо застрявшее дубовое кресло!

Это открытие ободрило меня, хотя, вроде бы, особенно радоваться было нечему: если не оказать Гэндзи помощь, он продержится так две-три минуты, после чего все равно сорвется. А от кого было ждать помощи? Не от Благовольского же!

Слава богу, Дож не мог заглянуть в дыру, и ему было невдомек, что главный его противник, хоть и совершенно беспомощен, но пока еще жив.

«Гораций, ты играешь в шахматы?» — раздался вдруг сзади прерывающийся от тяжелого дыхания голос Просперо.

Мне показалось, что я ослышался.

«Возникшая ситуация в шахматах называется патовой, — продолжил он. — У меня, к сожалению, не хватит сил спихнуть тебя в колодец, а ты не можешь выпустить ножку стола. Что ж, мы так и будем лежать на полу до скончания века? Имеется предложение получше. Раз насилие не дало желаемого результата, вернемся в цивилизованное состояние. То есть приступим к переговорам».

Он перестал тянуть мой ворот и поднялся. Я тоже поспешно вскочил и отодвинулся подальше от люка.

Вид у нас обоих был изрядно потрепанный: галстук Благовольского съехал на сторону, седые волосы взъерошились, пояс на халате развязался; я выглядел не лучше с надорванным рукавом и отлетевшими пуговицами, а когда подобрал очки, то выяснилось, что правое стеклышко треснуло.

Я был в полной растерянности, не знал, что делать. Бежать на улицу, за

городовым, что стоит на Трубной? Пока вернешься обратно, пройдет минут десять. Столько Гэндзи не продержится. Я непроизвольно оглянулся на дыру в полу.

«Ты прав, — сказал Благовольский, завязывая халат. — Эта прореха отвлекает».

Он шагнул к столу, повернул богатыря в обратном направлении, и крышка люка с лязгом захлопнулась. Вышло еще хуже! Теперь Гэндзи оказался в крошечной тьме.

«Мы остались вдвоем, ты да я. — Просперо посмотрел мне в глаза, и я ощутил всегдашнее магнетическое воздействие его взгляда, одновременно обволакивающего и притягивающего. — Прежде, чем ты примешь какое-то решение, хочу, чтоб ты прислушался к своей душе. Не соверши ошибки, о которой будешь жалеть всю жизнь. Слушай меня, смотри на меня, верь мне. Как верил раньше, пока в наш мир не ворвался этот чужой, ненужный человек, который всё испортил и извратил...»

Его звучный бархатный голос лился и лился, так что я уже не очень вникал в смысл слов. Теперь-то я понимаю, что Просперо подверг меня гипнотическому воздействию, и весьма успешно. Я легко внушаем, я охотно подчиняюсь воле более сильного, что Вам отлично известно по собственному опыту. Более того, так уж я устроен, что подчиненность доставляет мне наслаждение — я словно бы растворяюсь в личности другого человека. Пока рядом был Гэндзи, я беспрекословно слушался его, теперь же оказался во власти черных глаз и месмеризирующего голоса дожа. Пишу об этом трезво и с горечью, отдавая себе отчет в постыдных особенностях своей натуры.

Благовольскому понадобилось совсем немного времени, чтобы я превратился в оцепеневшего кролика, который не смеет шевельнуться под взором удава.

«Третьего лишнего здесь больше нет, никто нам не мешает, — говорил Дож, — и я расскажу тебе, как всё было на самом деле. Ты умен, ты сумеешь отличить ложь от правды. Но сначала мы с тобой выпьем — за упокой бескрылой души господина Гэндзи. Как положено по русскому обычаю, выпьем водки».

С этими словами он отошел в угол, где в стенной нише стоял огромный резной шкаф, и распахнул дверцы. Я разглядел какие-то бутылки, графины, бокалы.

От того, что я больше не ощущал на себе завораживающего взгляда, моя мысль будто очнулась, заработала вновь. Я посмотрел на стенные часы и увидел, что прошло менее пяти минут. Быть может, Гэндзи еще держится!

Однако прежде, чем я успел принять какое-либо решение, Благовольский вернулся к столу, впери́л в меня свои черные глаза, и меня опять охватила блаженная вялость. Я уже ни о чем не думал, а только внимал звукам властного голоса. Мы стояли, разделенные письменным столом. Опальная рулетка оказалась как раз между нами, ее никелированные рычажки поблескивали искорками.

«Вот два бокала, — сказал Дож. — Обычно я водки не пью — большая печень, но после этакой встряски нам обоим не помешает взбодриться. Держи».

Он поставил бокал на одну из ячеек Колеса Фортуны (черную — я запомнил), слегка толкнул рычажок, и хрустальный сосуд, описав полукруг, медленно переплыл на мою сторону. Просперо придержал рулетку, поставил второй бокал напротив себя, и тоже на черный квадрат.

«Ты будешь верить мне и только мне, — медленно, весомо проговорил Дож. — Я один вижу и понимаю устройство твоей души. Ты, Гора́ций, не человек, а половинка человека. Именно поэтому тебе так необходимо отыскать вторую твою половину. Ты ее нашел. Твоя вторая половина — я. Мы будем как единое целое, и ты сделаешься покоен и счастлив...»

В этот миг откуда-то снизу, от пола, раздался резкий треск, от которого мы оба вздрогнули и повернулись. Одна из паркетин на дверце потайного люка раскололась пополам, посередине трещины чернела маленькая круглая дырка.

«Что за чертовщи...» — начал было Просперо, но тут грохнуло еще и еще — всего пять или шесть раз.

Рядом с первой дыркой появились еще несколько. Полетели щепки, две паркетинны отскочили в сторону, а с потолка посыпалась белая крошка. Я догадался: это Гэндзи палит в крышку люка. Но зачем? Что это даст?

Ответ не заставил себя ждать. Снизу донеслись глухие удары: один, другой, третий. На четвертом паркет встал дыбом, и я, не веря своим глазам, увидел, как из дыры наружу высунулся кулак. Это невероятно, но Гэндзи умудрился голой рукой пробить дверцу — в том месте, где она была продырявлена пулями!

Кулак разжался, пальцы ухватились за край образовавшегося отверстия и стали тянуть крышку книзу, преодолевая сопротивление пружины.

«Это сам дьявол!» — вскричал Просперо и, бросившись животом на стол, схватился за чернильницу.

Я не успел ему воспрепятствовать. Благовольский повернул богатыря, и люк распахнулся. Послышался стон, звук глухого удара, а мгновение

спустя — зловещий, стремительно удаляющийся грохот.

От сотрясения стол качнулся, и колесо рулетки дернулось, снова описав полукруг. Несколько капель водки выплеснулись из бокалов в ячейки.

«Уф, — облегченно произнес Просперо, распрямляясь. — Какой настырный господин. А всё из-за того, что мы вовремя не выпили за его упокой. До дна, Гораций, до дна. Не то он снова вылезет. Ну же!»

Дождь грозно сдвинул брови, и я покорно взял водку.

«На раз-два-три до дна, — велел Благовольский. — И к черту больную печень. Раз, два, три!»

Я опрокинул бокал и чуть не задохнулся, когда огненная жидкость обожгла мое горло. Надо сказать, что я не любитель русского национального напитка и обычно предпочитаю мозельское или рейнвейн.

Когда я смахнул с ресниц выступившие слезы, меня поразила перемена, случившаяся с Благовольским. Он застыл на месте, схватив себя рукой за горло, а его глаза вдруг выпучились и полезли из орбит. Не могу описать выражение бескрайнего ужаса, исказившего благообразные черты Дожа. Он захрипел, рванул на себе ворот и с утробным воем согнулся пополам.

Я ничего не понимал, а между тем события следовали одно за другим так быстро, что я едва успевал вертеть головой.

Сбоку донесся стук, я обернулся, и увидел, как за край открытого люка уцепилась рука, за ней вторая; секунду спустя из дыры появилась голова Гэндзи — волосы растрепаны, исцарапанный лоб сосредоточенно нахмурен. А еще через несколько мгновений этот поразительный человек уже выбрался наружу и отряхивал белые от пыли локти.

«Что это с ним?» — спросил Гэндзи, вытирая платком ободранные до крови пальцы.

Вопрос относился к Дожу, который со страшным воем катался по полу, всё силился встать и не мог.

«Он выпил водки, а у него больная печень», — тупо объяснил я, всё еще не отойдя от оцепенения.

Гэндзи шагнул к столу. Взял мой бокал, понюхал, поставил на место. Потом склонился к рулеточному колесу — над тем местом, где только что стоял бокал Благовольского. Я увидел, что пролившиеся капли водки проступили на черной ячейке странными белыми разводами.

Тогда Гэндзи, перегнувшись, взглянул на корчившегося в судорогах Просперо, поморщился и заметил вполголоса:

«Похоже на царскую водку. Эта смесь азотной и соляной кислоты

должна была начисто сжечь ему пищевод и желудок. Какая ужасная смерть!»

Я затрепетал, только теперь сообразив, что подлый Просперо хотел напоить меня этой отравой, и лишь счастливый случай — толчок, повернувший Колесо Фортуны, — спас меня от кошмарной участи!

«Идемте, Гораций. — Гэндзи потянул меня за рукав. — Нам здесь больше делать нечего. Точно так же умер несчастный Радищев. Благовольского спасти невозможно. Облегчить его мучения тоже — разве что пристрелив. Но я этой услуги оказывать ему не стану. Идемте».

Он направился к двери. Я поспешно бросился за ним. Вслед нам неслись истошные вопли умирающего.

«Но... но как вы сумели выбраться из колодца? И потом, когда Благовольский повторно откинул дверцу, я явственно слышал грохот. Разве вы не сорвались вниз?» — спросил я.

«Упало кресло, в которое я упирался ногами, — ответил Гэндзи, натягивая свои широченные рукавицы. — Безумно жаль «герсталь», отличный был револьвер. Когда крышка распахнулась, пришлось за нее ухватиться обеими руками, вот «герсталь» и упал. Такой нигде не купишь — надо в Брюсселе заказывать. Можно, конечно, спуститься в колодец и поискать на дне, но уж больно не хочется снова лезть в эту дыру. Бр-р-р!»

Он передернулся. Я тоже.

«Подождите с четверть часа и телефонируйте в полицию», — сказал он на прощанье.

Стоило ему удалиться, как меня посетила неожиданная мысль — будто молнией ударило. Получается, что дож клуба самоубийц истребил себя сам! Это и называется высшей справедливостью! Значит, Бог всё-таки есть!

Вот идея, которая теперь занимает меня более всего. Я даже допускаю, что все потрясения последнего времени имели один-единственный смысл: привести меня к этому откровению. Ну да, впрочем, это Вас не касается. Я и так понаписал много лишнего, что для официального документа вовсе не нужно.

Резюмируя вышеизложенное, свидетельствую с полной ответственностью, что всё произошло именно так, как я описал.

Сергея Иринарховича Благовольского никто не убивал. Он погиб от собственной руки.

А теперь прощайте.

Искренне не уважающий Вас

Ф. Ф. Вельтман, доктор медицины

P.S. Я счел своим долгом рассказать господину Гэндзи об интересе,

который Вы и Ваше «высокое лицо» проявляют к его персоне. Он нисколько не удивился и просил передать Вам и «высокому лицу», чтобы Вы не утруждались дальнейшими поисками и не пытались доставить ему неприятности, поскольку завтра (то есть, собственно, сегодня) в полдень он покидает пределы города Москвы и богоспасаемого отечества, взяв с собой близких ему людей.

Именно поэтому — чтобы дать господину Гэндзи время благополучно отбыть из пределов Вашей юрисдикции — я не стал телефонировать в полицию с места происшествия, выждал весь день и отправляю Вам сие свидетельство только вечером, причем не с рассылным, а с обычной почтой.

Гэндзи совсем непохож на Исайю, но его пророчество на мой счет, кажется, сбылось: из слабого вышел сильный.

notes

Примечания

1

Игры, построенные на удаче (фр.)

2

Вероятность (нем.)

Жаль (нем.)

4

радости плоти (фр.)

5

Что значит «круть-верть»? (нем.)

Смерть (лат.)

Самая любимая (нем.)

Скоро (нем.)

Приди (нем.)

10

Я жду! (нем.)

Умри (нем.)